

ПРОСПЕР МЕРИМЕ

ХРОНИКА ВРЕМЕН КАРЛА IX

ДЕТИЗДАТ ЦК ВЛКСМ 1937

Хроника времен Карла IX
Проспер Мериме

Аннотация
Проспер Мериме. ХРОНИКА ВРЕМЕН КАРЛА IX.
1572. (Варфоломеевская ночь)
1572. Хроника времен Карла IX
Предисловие
Глава первая. РЕЙТАРЫ
Глава вторая. ДЕНЬ ПОХМЕЛЬЯ
Глава третья. ПРИДВОРНАЯ МОЛОДЕЖЬ
Глава четвертая. ОБРАЩЕННЫЙ
Глава пятая. ПРОПОВЕДЬ
Глава шестая. ВОЖДЬ ПАРТИИ
Глава седьмая. ВОЖДЬ ПАРТИИ. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Глава восьмая. ДИАЛОГ МЕЖДУ ЧИТАТЕЛЕМ И АВТОРОМ
Глава девятая. ПЕРЧАТКА
Глава десятая. ОХОТА
Глава одиннадцатая. УТОНЧЕННЫЙ ДУЭЛИСТ И ПРЕ-О-КЛЕР
Глава двенадцатая. БЕЛАЯ МАГИЯ
Глава тринадцатая. КЛЕВЕТА
Глава четырнадцатая. СВИДАНИЕ
Глава пятнадцатая. ВО МРАКЕ

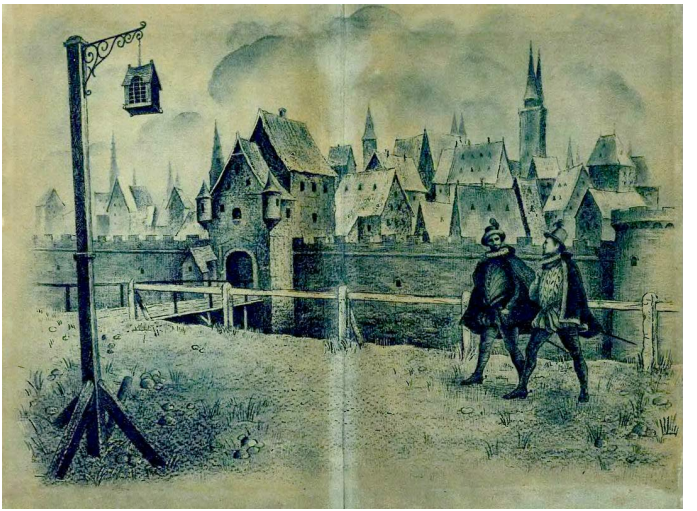
Глава шестнадцатая. ПРИЗНАНИЕ
Глава семнадцатая. ЧАСТНАЯ АУДИЕНЦИЯ
Глава восемнадцатая. ОГЛАШЕННЫЕ
Глава девятнадцатая. ФРАНЦИСКАНСКИЙ МОНАХ
Глава двадцатая. ЛЕГКОКОННЫЙ ЭСКАДРОН
Глава двадцать первая. ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ
Глава двадцать вторая. ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ АВГУСТА
Глава двадцать третья. ДВА МОНАХА
Глава двадцать четвертая. ОСАДА ЛАРОШЕЛИ
Глава двадцать пятая. ЛА-НУ
Глава двадцать шестая. ВЫЛАЗКА
Глава двадцать седьмая. ЛАЗАРЕТ

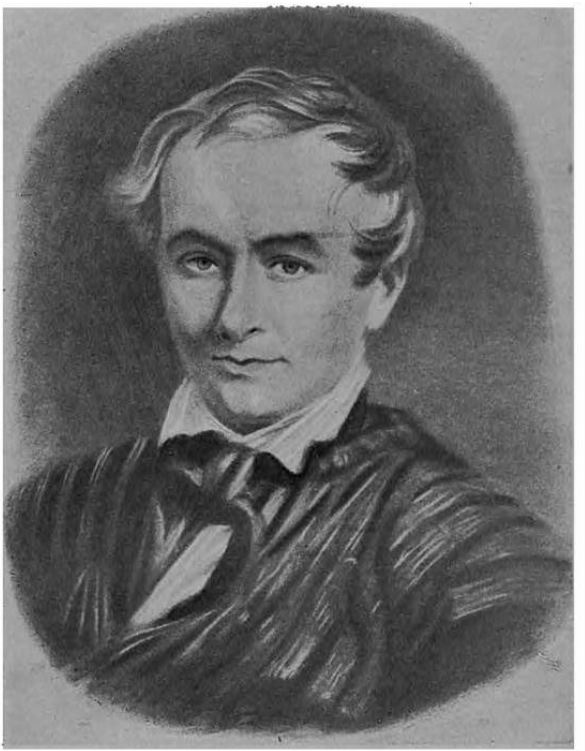
Аннотация

Классический исторический роман об эпохе противостояния католиков и протестантов во Франции XVI века.

Гражданские войны, высшей точкой которых стала Варфоломеевская ночь 24 августа 1572 г., увидены глазами молодого провинциального дворянина-гугенота Бернара де Мержи, прибывшего в Париж к брату. Капитан Жорж де Мержи, приняв участие в религиозной войне, утратил веру в бога, формально перешел в католичество и успешно продвинулся по службе. Он вводит брата в придворное общество, знакомит с прекрасными дамами, окружающими Екатерину Медичи. Но гражданская война не щадит ни любовь, ни братскую дружбу…

Проспер Мериме
ХРОНИКА ВРЕМЕН КАРЛА IX
1572
(Варфоломеевская ночь)





П. Мериме

Перевод с французского и комментарии **АНАТОЛИЯ ВИНОГРАДОВА**

Иллюстрации художника **ЭДУАРДА ТУДУЗ**



1572
Хроника времен Карла IX

Сочинение автора «Театра Клары Газуль»

То, что сарацины и варвары некогда считали доблестью, ныне мы зовем разбоем и злодейством.

Раблэ.

Предисловие

Мною только что прочитаны мемуары и памфлеты, относящиеся к событиям конца XVI века. Мне захотелось дать конспект прочитанного, — так получилась эта книга.

В исторической науке я больше всего ценю анекдот; из произведении анекдотического искусства я выбираю такие, которые, на мой взгляд, наиболее ярко описывают характеры и бытовые особенности своей эпохи. Быть может, мое пристрастие указывает на некоторую научную невзыскательность, но к большому моему стыду я должен сделать это признание: я уступлю полностью Фукидида за страницы настоящих воспоминании Аспазии или даже за записки какого-нибудь раба Перикла, так как только мемуативные записки, дружеское собеседование мемуариста с будущим читателем, дают нам полный образ человека, то есть то, что составляет предмет моего интереса и моего изучения.

Совсем, конечно, не Мезере, а Моплюк, Брантом, д'Обинье, Таванн, Ла-Ну дают нам правильное представление о французах XVI века. К тому же

стилистические свойства этих записей так же много говорят об эпохе, как и колорит их изложения.

Возьмем пример. Я прочел у Эстуаля[1] такое замечание: «Мадемуазель де-Шатонеф, одна из любимиц короля, до его отъезда в Польшу, выйдя по сердечной склонности замуж за флорентийского гражданина Антинотти, начальника марсельских галер, и узнав в нем развратника, зарезала его собственноручно, по-мужски».

На основании этого анекдота и множества других, которыми пестрит Брантом, я имею возможность воссоздать в своем представлении цельный характер: передо мною во весь рост придворная дама Генриха III.

Чрезвычайно интересно давать сравнения старинных нравов с нашими, прослеживать, как вырождаются горячие страсти и, войдя в наши дни, сменяются ровным течением чувств и, быть может, ощущением счастья. Вопрос, сделались ли мы лучше наших предков, таким образом не решается, да и решить его не так-то легко, ибо взгляды на одни и те же поступки очень

---

[1] Примечания: 1

Пьер Эстуаль (1546–1611), автор исторических хроник из эпохи Генриха III и Генриха IV.

Примечание переводчика.

меняются в потоке времени. Возьмите пример: убийство ножом или ядом около 1500 года совсем не вызывало того ужасного впечатления, которое теперь сопровождает такие происшествия. Дворянин из-за угла убивал своего противника, потом просил помилования и, получив его, как ни в чем ни бывало входил в гостиные, и никому в голову не приходило поворачиваться к нему спиной. Бывало и так, что если убийство было вызвано чувством законной мести, то об убившем говорили в таком тоне, как теперь говорят о поступке человека, застрелившего на дуэли негодяя и оскорбителя.

Таким образом, мне кажется самоочевидной истиной, что если мы высказываем суждение о поведении людей XVI столетия, то мы не должны судить их с точки зрения понятий и нравов нашего века. Поступки, квалифицированные как преступления в стране, достигшей цивилизации, оцениваются в государстве с менее совершенной формой гражданственности как признак отваги, и чем дальше в глубь веков, тем больше, а во времена варварства эти же самые поступки могут стать предметом общей хвалы.

Оценка одного и того же действия, как видите, должна разнообразиться применительно к

местности в стране, в которой это действие совершилось, так как между населениями разных местностей существует одновременно такая же разница, как между веками.[2]

Мехмет-Али, имевший в лице мамелюкского бея соперника по власти над Египтом, однажды приглашает к себе на праздник в свой дворец всех начальников мамелюкского войска. Они пришли. Едва вступили они во внутренний двор, как за ними заперли ворота; албанские стрелки, спрятанные на верхней галлерее, мгновенно расстреливают вошедших; и вот с этой минуты Мехмет-Али безраздельно владеет Египтом.

А мы? Мы заключили договор с Мехметом-Али. Мехмет-Али пожинает дань уважения Европы, и газеты провозглашают его великим человеком, его именуют благодетелем Египта. Однако, подумайте, что может быть названо зверством с большим правом, нежели расстрел беззащитных гостей? Но, сказать правду, устройство таких

---

[2] Примечания: 2

Не обязаны ли мы применять эту точку зрения и к поступкам отдельных людей? Можно ли одинаково сурово карать воришку, у которого отец был вором, и благовоспитанного человека из общества, злостно разыгравшего банкрота?

Примечание автора.

Все примечания, не подписанные переводчиком, принадлежат автору.

Примечание редактора.

капканов освящено местными обычаями и, быть может, отсутствием других способов решить политическую задачу. Вот тут-то поистине уместно восклицание Фигаро: «Ma per Dio, l'utilita!» («Но, бог мои, а польза-то как же!»).

Если бы у одного из нынешних министров — позвольте не называть его фамилии — были бы под рукой «албанцы», готовые начать стрельбу по его команде, и если бы на одном из званых обедов он раскроил бы черепа выдающимся левым депутатам, то, как факт, этот поступок был бы ничем не хуже деяния египетского султана, но все дело в том, что нравственно он показал бы себя в сто раз преступнее: убийство не в наших нравах. Однако, вышеупомянутый господин министр сошвырнул с должностей многих избирателей левых партий, сместил мелких чиновников, припугнул тех, кто повыше, и этим способом добился организации депутатских выборов, ему угодных. Уверяю вас, что Мехмет-Али, сделайся он французским министром, удовольствовался бы точно таким же способом; равно, как я не сомневаюсь, что министр Франции, пересаженный в Египет, счел бы необходимым использовать стрельбу, так как вряд ли простое смещение с должности оказало бы достаточное воздействие на характер

мамелюков.

События Варфоломеевской ночи оказались преступлением огромной важности даже для своего времени, несмотря на то, что, повторяю, массовые убийства XV века совсем не расценивались так, как избиение человеческих масс в XIX столетии. Обратите внимание также на то, что большая часть нации принимала в этом участие или непосредственной деятельностью, или выражением сочувствия: она вооружилась, чтобы преследовать гугенотов, на которых смотрела как на людей чужого племени, как на опасных врагов.

Варфоломеевская ночь была гражданской войной, похожей на испанское восстание 1809 года, и парижане, убивая еретиков, веровали в то, что они выполняют божью волю.

Безыскусственному рассказчику, вроде меня, следовало бы предложить в этом томе читателю краткое повествование об исторических происшествиях 1572 года, но уж раз я заговорил о ночи св. Варфоломея, то не в силах отказать себе в том, чтобы привести несколько собственных размышлении, охвативших меня при чтении летописных страниц о кровавых событиях нашей истории.

Хорошо ли понятны причины, в результате

которых произошло это избиение? Было ли это истребление массы людей заранее холодно обдуманным предприятием, или оно явилось внезапным следствием порывистого решения, почти случайным?

На все эти вопросы ни один историк не ответил мне так, чтобы я почувствовал полную ясность. Их аргументы сводятся к тому, что они переоценивают городские слухи и предполагаемые разговоры. Эти факты сами по себе не могут иметь цены, раз дело идет о разрешении столь серьезном исторической задачи.

Одни изображают Карла IX каким-то двоедушным чудовищем. В изображении других он превращается в полоумного мизантропа, порывистого и несдержанного. С их точки зрения, если Карл сыплет проклятия и угрожает гугенотам задолго до ночи 24 августа, то… это доказывает, что он издавна и исподволь обдумывал их уничтожение.

Если же Карл IX сыплет на гугенотов королевские милости, то в этом доказательство королевского двоедушия.

Позвольте привести одну маленькую историю, которую все припомнят и которая, по-моему, доказывает только чрезвычайное легковерие

наших историков.

Рассказывают, что за год или немного более до ночи св. Варфоломея план истребления гугенотов был уже выработан. И вот этот план. В местечке Пре-о-Клер задумали построить деревянную башню, внутрь которой предполагали посадить герцога Гиза с дворянами и солдатами-католиками, а адмирал со своими протестантами должен был начать ложную осаду или примерный штурм, как на маневрах, чтобы доставить королю зрелище примерной войны. А в разгаре этого своеобразного состязания по особому сигналу католики должны были зарядить свои ружья и перестрелять наступавших раньше, чем те сумели бы защититься.

Для украшения этой истории присочиняют рассказ о том, как королевский фаворит Пиньероль будто бы проболтался об этом заговоре, выпалив королю, ругавшему протестантских сановников: «Ах, ваше величество, скоро наступит час, когда башня сразу отомстит за всех нас еретикам». Заметьте, читатель, что для этой крепости еще ни одной доски не было поставлено.

Затем будто бы король позаботился о казни болтуна. Далее рассказывают, что этот план был выдуман канцлером Бирагом, и в доказатель-

ство приводят слова, будто бы сказанные им и, по-моему, свидетельствующие о намерениях совершенно противоположного рода, а именно: «Для того чтобы избавить королевское величество от недругов, достаточно будет прибегнуть к помощи нескольких поваров».

Надо сказать, что этот рецепт был гораздо более удобен, чем затея с башней, надуманность которой делала самую операцию с башней почти неосуществимой.

Ну, в самом деле, неужели у протестантов не зашевелилось бы сомнение при виде этих странных приготовлений к войне, хотя бы и примерной, но все же ставящей лицом к лицу людей двух партий, столь враждебных друг другу? Кроме того, собрать гугенотов в одно войско, дать им в руки оружие вряд ли было бы хорошим способом дешево от них отделаться. Само собой ясно, что если бы в то время замышляли им гибель, то лучше было бы устроить нападение на каждого из них, когда он безоружен.

Итак, если вы спросите мое мнение, я твердо убежден, что предварительной подготовки к избиению не было. Я не могу понять, как можно думать иначе даже тем писателям, которые, считая Екатерину женщиной злой, все же не от-

рицают в ней глубочайшего политического ума, редчайшего даже для своего времени.

На время отложим в сторону соображения нравственного порядка. Будем судить о деле с точки зрения его полезности. Я утверждаю, что этот шаг не был полезен двору и, кроме того, самое его осуществление было настолько неуклюже, что наводит на мысль о чрезвычайной нелепости и сумасбродстве инициаторов этого предприятия.

Займемся ближайшим рассмотрением вопроса о том, должна ли была королевская власть иметь выгоду или проиграть от этого плана в целом и было ли ей интересно допускать осуществление плана в таком порядке.

Прежде всего, обратим внимание на то, что Франция раздиралась борьбою трех больших партии: одна — это протестантская партия, во главе которой после смерти принца Конде стал адмирал; другая — королевская партия, самая слабая, и, наконец, третья — партия Гизов (крайних роялистов тогдашнего времени).

Ясно, что король имел совершенно одинаковые основания с осторожностью относиться и к протестантам, и к партии Гизов; опасаясь их обоих, он должен был стараться, ради сохранения в целости своей власти, чтобы обе эти партии

находились в состоянии непримиримой вражды. Уничтожение одной из этих партий значило отдачу себя самого на съедение уцелевшей партии.

Система политического равновесия, таким образом, была известна уже тогда не только как политическая теория, но и как практическая политика. Ведь изречение «Разделяй и властвуй» принадлежит во Франции Людовику XII.

Нам надо определить степень благочестия Карла IX, ибо указывают на то, что крайняя степень религиозности долга побудить его к таким мерам, которые шли вразрез с его выгодой. По вот именно в этом пункте все указывает на обратное явление: король не был вольнодумцем, по еще менее он был фанатиком, а кроме того, руководившая им его мать ни одной минуты не задумалась бы принести в жертву свои религиозные убеждения ради захвата власти, если, конечно, допустить существование у нее религи-

озных убеждений[3].

Но допустим, что сам Карл, или его мать, или, наконец, королевское правительство решили сломать политические принципы и уничтожить французских протестантов, — если они уж додумались до такого твердого решения, то наверняка зрело обдумали бы средства, наиболее обеспечивающее успех этого дела. Но в таком случае самое первое требование успешности — это одновременность операции по всем городам, чтобы избиение реформатов, подвергающихся нападению со стороны превосходных сил[4], не могло встретить сопротивления группы населения, лишенной защиты. Это истребление можно было провести в один день, как сделал то с евреями Ассур[5] в древние времена.

---

[3] Примечания: 3

В доказательство подлого двоедушия Карла IX приводится обычно его фраза, которая, по-моему, говорит только о совершенном равнодушии к религии человека, грубого и неразборчивого. Дело в том, что римский папа чинил всяческие препятствия браку Маргариты Наваррской, сестры Карла IX, с Генрихом IV, в то время еще протестантом. Карл сказал: «Пускай святой отец упирается и не дает разрешения — обойдемся. Я возьму под руку сестренку Марготон и сплавлю ее замуж на протестантский манер!»

Примечание автора.

[4] Примечания: 4

Численность населения тогдашней Франции приблизительно составляла 20 миллионов. Число протестантов ко времени второй гражданской войны определяется приблизительно в полтора миллиона, но надо учитывать то обстоятельство, что качество их солдат, генералов, материальных ресурсов, по сравнению с католической Францией, было обратно пропорционально, что почти уравновешивало количественную разницу.

Примечание автора.

[5] Примечания: 5

Персидский царь, описываемый в библии.

Примечание переводчика.

Однако, мы читаем, что первые ранние королевские приказы об истреблении протестантов были получены 28 августа, то есть спустя четыре дня после Варфоломеевской ночи, так что известие об этой бойне должны были предупредить королевские депеши, не только предупредить, но и встревожить всех граждан, не безразличных к религии.

Важнейшим делом был захват протестантских укрепленных мест. Пока крепости были в руках протестантов, королевская власть не была полной. Таким образом, если допустить факт католического заговора, то очевидно будет, что одним из главнейших мероприятий стал бы захват Ларошели 24 августа, а это вызвало необходимость концентрации войск на юге Франции в целях помешать сосредоточению реформатов.[6]

Ни то, ни другое не имело места.

Я не могу допустить мысли о том, чтобы одни и те же люди, которые смогли задумать коварный план, чреватый важнейшими последствиями, оказались такими немощными в одном случае и растерянными при его исполнении в другом

---

[6] Примечания: 6

Характерная черта второй гражданской войны: протестанты в один и тот же день врасплох овладели большей частью французских крепостей. В свое время католики могли бы сделать то же самое.

случае.

И действительно, все принятые меры оказались столь непригодными, что через несколько месяцев после Варфоломеевской ночи война разгорелась с новой силой, и реформаты на этот раз не только покрыли себя славой побед, но извлекли целый ряд новых преимуществ.

Наконец, убийство Колиньи, имевшее место за два дня до Варфоломеевской ночи, не является ли самым решительным опровержением догадок о подготовленном заговоре? С какой стати убивать главу протестантов перед всеобщим избиением протестантской массы? Разве это не явилось лучшим средством испугать и насторожить гугенотов?

Мне известно, что некоторые авторы приписывают покушение на особу адмирала единоличной воле герцога Гиза. Вместе с тем общественное мнение обвиняло в этом преступлении самого короля, а тот факт, что убийца получил награду из *королевских* рук, для меня является аргументом против существования заговора. И в самом деле, если бы заговор был налицо, то Гиз был бы его непременным участником, а раз так, то почему не отложить на два дня семейную месть, родовые счеты, чтобы сделать эту месть еще более

неизбежной? С какой стати ставить под угрозу неудачи все предприятие только ради удовольствия на два дня ускорить смерть врага?

В итоге все это, на мой взгляд, служит доказательством, что массовое избиение не было результатом королевского заговора против части нации. Варфоломеевская ночь представляется мне этапом гражданской войны, которую нельзя было предотвратить и которая разразилась стихийно.

Попытаюсь, насколько хватит моих скромных сил, объяснить эту задачу.

Колиньи трижды договаривался со своим государем, как равная власть с равной властью: этого одного было достаточно, чтобы разжечь ненависть. По смерти Жанны д'Альбре оба молодых принца — и король Наваррский, и принц Конде — были еще слишком юны, и потому на самом деле Колиньи был единоличным главою реформатской партии. После его смерти принцы, находясь во вражеском стане, попали в положение пленных и целиком зависели от королевского благоволения. Итак, достаточно было смерти Колиньи, и только одного Колиньи, чтобы власть Карла IX была обеспечена с достаточной полнотой. Он, быть может, не забыл изречения

герцога Альбы: «*Голова семги стоит все-таки дороже, чем десять тысяч лягушек*».

Но если бы одним ударом король освободился сразу и от адмирала, и от герцога Гиза, то очевидно, что он стал бы неограниченным властителем.

Ход его решений был бы таков: поручить или, по крайней мере, приписать убийство адмирала герцогу Гизу, затем объявить преследование этого принца, как убийцы, декларировать, что король готов предоставить гугенотам право мести. Ведь известно, что герцог Гиз, виновный или нет в Морвелевском покушении[7], со стремительной поспешностью бежал из Парижа и что реформаты, которым король оказывал лицемерное покровительство, разразились громовыми угрозами против принца Лотарингского дома.

Население Парижа в тот век было яростно фанатичным. Горожане, вооруженные и организованные, представляли собой нечто похожее на национальную гвардию; они по первому удару набата могли выступить в бой с оружием.

И насколько герцог Гиз был любим парижанами, чтившими память его отца и собственные его

---

[7] Примечания: 7

Морвель получил прозвище «королевский убийца» (см. Брантом).

доблести, настолько гугеноты, дважды осаждавшие их город, были им ненавистны. Некоторые поблажки, которыми гугеноты пользовались при дворе, когда королевская сестра вышла замуж за протестантского принца, удвоили гордость гугенотов и ненависть к ним парижан. Одним словом, довольно было кому-либо возглавить этих фанатиков и коротко крикнуть: «Бей!», чтобы они бросились резать своих единоплеменников, впавших в ересь.

Удаленный от двора, окруженный опасностью, под угрозой и со стороны короля, и со стороны принцев, герцог чувствует необходимость искать опоры у парижских буржуа. Он созывает командиров парижской гвардии, он произносит речь, говоря, что еретики составили заговор, он убеждает городских гвардейцев начать истребление еретиков, пока они не привели свой заговор в исполнение, — и *только после этого* возникает мысль о массовой бойне.

Тайна, сопровождавшая заговор, а также то явление, что множество людей сумело хорошо сохранить эту тайну, объясняются тем, что между замыслом и осуществлением протекло всего лишь несколько часов. Иначе объяснить нельзя, ибо «в Париже *секретнейшие признания облада-*

ют самым быстрым темпом распространения», как сказал Наполеон.[8]

Труднее определить, какое участие принимал сам король в этом избиении: ведь если он его и не одобрил, то, во всяком случае, он его допустил. По истечении двух дней убийств и насилий он от всего отрекся и даже вознамерился остановить бойню[9], но народной ярости была предоставлена такая воля, что малое количество пролитой крови не в силах было ее насытить: ей необходимо было шестьсот тысяч смертей. Самодержец стал щепкой на гребне волны, которая унесла его с собой. Он отменил приказ об амнистии и тотчас выпустил другой, разливавший волны убийства по лицу всей Франции. Таково мое мнение, мое представление о Варфоломеевской ночи. Предлагая его вниманию читателя, я позволю себе повторить слова лорда Байрона: «*Я говорю лишь: предположим это*» («Дон-Жуан», песнь первая, строфа 85).

Париж, 1829 год.

---

[8] Примечания: 8

«Записки на острове св. Елены».

[9] Примечания: 9

Король приписал убийство Колиньи и уличную бойню герцогу Гизу и принцам Лотарингского дома.

Глава первая
РЕЙТАРЫ[10]

Через По, через горы,
Сквозь метели и снег
Наши черные своры
Шли с Бурбоном в набег.

Байрон, «Преображенный урод», ч. 1-я, сцена 2-я.

Неподалеку от Этампа, по дороге из Парижа, еще и теперь можно видеть большое прямоугольное здание со стрельчатыми окнами и грубыми скульптурными украшениями вокруг них. Над входом находится углубление, в котором когда-то стояла каменная мадонна, но в дни революции ей выпал на долю общий жребий всех святых обоего пола, и она торжественно была превращена в осколки председателем Ларсийского революционного клуба. Прошли года, и на ее место поставили другую деву, правда, всего лишь

---

[10] Примечания: 10

Искаженное старинное немецкое слово Reuter — всадник, по-французски reitre.

Примечание переводчика.

из гипса, но и эта богоматерь, разукрашенная шелковыми лоскутьями и стеклянными бусами, имеет вполне благопристойный вид и придает солидность трактиру Клода Жиро.

Более двух веков назад, а именно в 1572 году, это строение, как и теперь, служило местом отдыха для жаждущих путешественников, но тогда оно имело совершенно иную внешность. Стены были испещрены надписями, свидетелями превратности гражданской войны. Сбоку от надписи: «*Да здравствует принц!*» читалось: «*Да здравствует герцог Гиз! Смерть гугенотам!*», а чуть подальше прохожий солдат нарисовал углем виселицу с висельником и, чтобы никто не обознался, сделал подпись: «*Гаспар из Шатильона*»[11]. Но, очевидно, протестанты довольно быстро одержали верх в этих краях, так как имя гугенотского вождя было стерто и вместо него было выведено имя герцога Гиза. Прочие полустертые надписи, которые довольно трудно было разобрать и еще труднее сообщить читателю в благопристойных выражениях, доказывали, что король и его мать пользовались не большим уважением, нежели предводители этой партии. Но больше всего,

[11] Примечания: 11

Насмешливое прозвище адмирала Колиньи.

Примечание переводчика.

повидимому, от ярости гражданских вони пострадала злополучная статуя. Она в двадцати местах была пробита пулями — свидетельство того, как усердны были гугенотские солдаты в сокрушении «языческих идолов», по их собственному выражению; тогда как набожный католик почтительно снимал свой колпак, проходя мимо статуи, каждый протестантский стрелок считал своим долгом пустить в нее пулю из мушкета и гордился метким выстрелом, словно ему удалось поразить апокалипсического Зверя и низвергнуть идолопоклонство.

Прошло несколько месяцев с того дня, как между приверженцами враждующих религий был заключен предварительный мир; но клятвы договаривающихся сторон были делом уст, а не делом сердца. Вражда таилась и горела с прежней непримиримостью. Все говорили о том, что война только что кончилась и что мир еще может быть нарушен.

Корчма «Золотого Льва» была наполнена солдатами. По чужестранному говору и необычной одежде в них можно было сразу узнать тех немецких кавалеристов, *рейтаров*, которые охотно предлагали свои услуги протестантской партии, в особенности когда последняя обладала возмож-

ностью заплатить хорошо. Если эти иностранцы пользовались славой искусных наездников и превосходных стрелков, опасных на поле битвы, то еще более заслуженной была их слава отъявленных грабителей, жестоких к побежденному врагу. Отряд, занявший корчму, состоял из полусотни кавалеристов, выехавших накануне из Парижа и направлявшихся в Орлеан, чтобы стать там гарнизоном.

Пока одни чистили лошадей на коновязи у ограды, другие разводили огонь, вращали вертела и стряпали ужин. Несчастный корчмарь с шапкой в руке и со слезами на глазах смотрел на зрелище разрушения, местом которого сделалась его кухня. Он смотрел на свой разграбленный курятник, опустошенный погреб, на бутылки, у которых отбивали горлышко, не раскупоривая их, и видел, что, в довершение всех несчастий, несмотря на строгие приказы короля относительно военной дисциплины, ему нечего рассчитывать на возмещение убытков со стороны посетителей, считавших его побежденным противником. Это было ему известно. В те печальные времена было истиной, ни в ком не вызывавшей сомнения, что, независимо от мира или войны, солдаты всегда и всюду, где бы ни находились, живут за счет

обывателей.

За дубовым столом, потемневшим от сала и копоти, сидел начальник рейтаров. Он был высок ростом, полон. На вид ему можно было дать лет пятьдесят. Он обращал на себя внимание обветренным и загорелым цветом лица, орлиным носом, редеющими волосами с проседью, едва прикрывавшими широкий рубец, шедший от левого уха и спрятанный в седых усах. Панцырь и шлем он снял, оставшись в венгерской кожаной куртке, почерневшей от металла и покрытой многочисленными заплатами. Сабля и пистолеты лежали у него под рукой.

Слева от начальника сидел молодой румяный человек, высокий и прекрасно сложенный. Его военная куртка была украшена шитьем, и во всей его одежде были признаки большей изысканности, нежели в костюме его товарища. Однако, он был всего лишь корнет, а тот имел чин капитана.[12]

С ними в компании за тем же столом сидели две молодые женщины, двадцати — двадцати пяти

---

[12] Примечания: 12

Корнет: от слова corne (рог) — вестовой, или трубач, при начальнике. Капитан — начальник, или главный, от латинского слова caput (голова).

Примечание переводчика.

лет. Нищета и роскошь сочетались в их одежде с чужого плеча, повидимому, военной добыче, случайно попавшей в руки этим женщинам. Одна была одета в роскошный лиф из твердого штофа, вышитого золотом, утратившим блеск. Вместе с лифом на ней была надета простая холщевая юбка. На другой была надета робронда из лилового бархата и серая мужская поярковая шляпа с петушиным пером. Они обе были довольно красивы. Но их смелые взгляды и ничем не сдержанная речь выдавали их привычку жить среди солдат. Они покинули Германию, не имея никакой определенной профессии. Особа в бархатном платье была цыганкой, она играла на лютне и гадала по картам. Другая обладала медицинскими познаниями, и, повидимому, ее именно корнет выбрал предметом своего внимания.

Перед каждым из этой четверки стояли большая винная фляга и стакан. Они болтали друг с другом и пили, ожидая обеда.

Разговор понемногу сходил на-нет, как это обычно случается с голодными людьми, по вдруг у дверей корчмы остановил красивую рыжую лошадь молодой высокорослый человек, одетый весьма изысканно. Рейтарский трубач поднялся навстречу незнакомцу и взял коня под уздцы.

Приезжий, сочтя это проявлением предупредительности, уже собрался поблагодарить трубача, но в мгновение ока понял свою ошибку, ибо трубач поднял конскую губу и опытным взором осмотрел лошадиные зубы, потом слегка отошел, оглядел ноги и круп благородного животного и сделал движение головой с видом полного удовлетворения.

— Прекрасный у вас конь, — сказал он и, обернувшись к своим товарищам, произнес несколько слов по-немецки, отчего его приятели покатились со смеху. Трубач уселся с ними.

Этот бесцеремонный осмотр лошади крайне не понравился путешественнику. Однако, он ограничился тем, что смерил трубача пренебрежительным взглядом и соскочил на землю.

Тут вышел из дому корчмарь. Он почтительно принял из рук приезжего конский повод и сказал ему на ухо, чтобы рейтарам не было слышно:

— Помоги вам бог, молодой кавалер, но приехали вы не в добрый час; эта банда, — он кивнул головой в сторону рейтаров, — сверни им шею св. Христофор, не очень приятная компания для добрых христиан, как мы с вами.



Молодой человек с горечью улыбнулся.

— Это что же, — протестантская конница? — спросил он.

— Да какая еще конница: сплошь рейтары, — ответил корчмарь. — Накажи их мать богородица! За какой-нибудь час перебили, переломали половину имущества. Такая грабительская сволочь,

как и сам их проклятый коновод Шатильон, этот чортов адмирал.

— До седых волос дожил, а ума не нажил, — ответил приезжий. — Заговори ты с протестантом, и он ответит тебе затрещиной.

Говоря это, молодой человек ударял плетью по сапогам из белой кожи.

— Как?.. Что?.. Вы — гугенот?.. протестант, я хотел сказать… — восклицал изумленный корчмарь. Он отпрянул назад и с беспокойством осматривал незнакомца с головы до ног, словно стремясь по костюму найти какой-нибудь признак, указывающий на вероисповедание. Этот осмотр, встреченный молодым человеком с улыбкой, понемногу успокоил трактирщика. Он заговорил шопотом:

— Протестант, а одет в зеленый бархат! Гугенот в испанских брыжах! Ну, уж это невозможно! Нет, дорогой кавалер, такой удали у еретиков не бывает. Мать пресвятая богородица, да этакий бархатный камзол никогда не увидишь на этих скрягах!

Кавалерийская плеть мгновенно свистнула в воздухе и полоснула по лицу трактирщика, как явное выражение настоящего вероисповедания молодого приезжего.

— Наглец и болтун, учись держать язык за зубами! Ну, веди скорее лошадь в конюшню, и чтобы корм был в порядке, чтобы лошади всего было в волю!

Трактирщик, понурив голову и с проклятиями немецким и французским протестантам, произносимыми себе под нос, повел коня под навес, но если бы молодой человек не пошел за ним следом, чтобы удостовериться в правильном уходе за лошадью, то, несомненно, его еретический конь простоял бы ночью без корма.

Приезжий вошел в кухню и приветствовал сидевших там изящным поклоном, приподняв край большой широкополой шляпы, украшенной черно-желтым пером. Капитан ответил на привет и минуту-другую оба они молча осматривали друг друга.



— Капитан, — произнес приезжий, — я — дво-

рянин и протестант и рад видеть здесь моих единоверцев. Если вам это приятно, можем поужинать вместе.

Изящный костюм и манеры человека высшего общества произвели впечатление на капитана. Он ответил приезжему, что польщен и почтет за честь его общество. И тотчас же мадемуазель Мила, о которой мы уже говорили, освободила ему место на скамье рядом с собой и, услужливая по природе, протянула ему свой стакан, а капитан поспешил наполнить стакан вином.

— Мое имя — Дитрих Горнштейн, — сказал капитан, чокнувшись с молодым человеком. — Ведь вы, конечно, слышали о капитане Дитрихе Горнштейне? Это я водил в бой отчаянных молодцов района Дрё, а затем в районе Арне-ле-Дюка.

Приезжий понял, что эта рекомендация является не прямо поставленным вопросом о его собственном имени, и ответил:

— Жалею, что не могу назваться именем, столь знаменитым, как ваше, господин капитан, то есть я сам не могу назваться, потому что имя моего отца довольно хорошо известно в наших гражданских войнах. Меня зовут Бернар де-Мержи.

— Кому вы это говорите! — воскликнул капитан, до краев наполняя свой стакан. — Ведь я знал

вашего батюшку, господин Бернар де-Мержи! Я знал его еще в первую гражданскую войну, я знал его, как знают близкого друга. За его здоровье, господин Бернар!

Капитан поднял стакан и обратился к отряду с короткими немецкими словами. Как только он поднес вино к губам, все кавалеристы с возгласами подбросили свои шапки вверх. Корчмарь, приняв это за сигнал к избиению, стал на колени. Бернар сам был несколько озадачен этим чрезвычайным проявлением уважения, однако он почел должным ответить на эту германскую любезность тостом за здоровье капитана.

Бутылки, уже изрядно опустошенные, не дали возможности осуществить эту здравицу.

— Встань-ка, ханжа! — обратился капитан к трактирщику, стоявшему на коленях. — Встань и пойди за вином, не видишь разве, что бутылки пусты?

А корнет для большего доказательства швырнул в голову трактирщика одну из бутылок. Трактирщик побежал в погреб.

— Этот человек — отъявленный наглец, — сказал Мержи, — но если бы бутылка попала ему в голову, то вы причинили бы ему больше вреда, чем вам самому хотелось бы.

— Пустяки! — ответил корнет с хохотом.

— Голова паписта крепче этой бутылки, но более пуста, — заметила Мила.

Корнет захохотал еще громче и все хохотали с ним вместе, даже Мержи, который, впрочем, смеялся скорее глядя на улыбающиеся губы красивой цыганки, чем в ответ на ее жестокую шутку.

Вино было подано, потом принесли ужин, и после короткого молчания капитан снова заговорил:

— Знавал ли я господина де-Мержи? Он был полковником в пехоте еще при первом походе принца. Два месяца сплошь мы стояли с ним в одной квартире под осажденным Орлеаном. Ну, а как теперь его здоровье?

— Не плохо для его преклонных лет! Он частенько рассказывал мне о рейтарах, об их атаках, в которые они кидались во время боев в районе Дрё…

— Знавал я также и его старшего сына… вашего брата, капитана Жоржа, то есть раньше… до его…

Мержи был смущен.

— Это был молодец хоть куда! Только, чорт возьми, какая горячая голова! Я соболезную вашему отцу! Капитан Жорж, ставший вероотступником,

должно быть, немало причинил ему горя.

Мержи побагровел до корней волос. Он несвязно заговорил, оправдывая своего брата, но легко было заметить, что братское осуждение было суровее и строже, чем порицания, произнесенные капитаном рейтаров.

— Вам этот разговор неприятен, — сказал капитан. — Ну, ладно, оставим говорить об этом. Ваш брат — потеря для веры и находка для короля, который, как я слышал, относится к нему чрезвычайно милостиво…

— Вы недавно оставили Париж, — прервал его Мержи, стараясь скорее перевести разговор на другую тему, — скажите-ка, уехал ли адмирал? Вы, конечно, его видели. Каково теперь его здоровье?

— Перед самым нашим выступлением он вернулся из Блуа, чувствует себя прекрасно. Он свеж и бодр. Его, милого человека, на двадцать гражданских войн хватит. Король дает ему такие отличия, что паписты дохнут со злости.

— Это так, королю никогда не расквитаться с ним за его заслуги.

— Да, да, да! Видел я еще вчера, как на площадке Луврского дворца его величество пожимал руку адмиралу. Господин Гиз шел слегка поодаль, и

вид у него был, как у побитой собачонки. И знаете, что пришло мне в голову? Мне показалось, что дрессировщик показывает льва на ярмарке, заставляет его подавать лапу, как собачку, но хотя Жиль-простачок и корчит довольную рожу, но чувствуется, что он ни на минуту не забывает, что у протянутой лапы есть страшные когти. Да, клянусь седой бородой, видно было, как король чувствует адмиральские когти!

— Адмирал далеко хватает, он длиннорукий! — сказал корнет, пользуясь выражением, которое сделалось протестантской войсковой поговоркой.

— Знаете, для своих лет это очень видный мужчина, — вставила замечание Мила.

— Уж, конечно, я скорее бы выбрала в любовники его, чем какого-нибудь паписта, будь он молодой, — подхватила эти слова девица Трудхен, подружка корнета.

— Это столп веры, — сказал Мержи, желая внести свою долю похвал.

— Да, но гнет людей в бараний рог ради дисциплины, — произнес капитан, неодобрительно качая головой.

Корнет многозначительно прищурил глаз, и его толстое лицо сделало гримасу, которая долж-

на была означать улыбку.

— Я не ожидал, — сказал Мержи, — от такого старого служаки, как вы, капитан, упреков адмиралу за то, что он требует точного соблюдения дисциплины в войсках.

— Да, да, это, конечно, бесспорно, дисциплина необходима, но в конечном счете нужно принять во внимание все солдатские передряги и не запрещать солдатам поразвлечься, когда выпадет случай. Эх, что там, у каждого человека есть какой-нибудь недостаток. И хотя адмирал приказал меня повесить, выпьем за здоровье господина адмирала!

— Как, адмирал приказал вас повесить? — воскликнул Мержи. — Но послушайте, для повешенного у вас слишком живой вид.

— Да, чорта с два!.. Он приказал меня повесить, но я не злопамятен. Давайте пить за его здоровье!

И прежде чем Мержи успел раскрыть рот для новых вопросов, капитан уже наполнил стаканы, и, сняв шляпу, приказал своим кавалеристам троекратно прокричать «ура». Пустые стаканы стояли на столе; шум смолк, Мержи опять спросил:

— Ну, так за что же вас приговорили к повеше-

нию, капитан?

— Да так, по пустячному поводу: разграбил какой-то монастыришко в Сент-Онже, а потом он как-то нечаянно сгорел…

— Да и, конечно, не все монахи успели удрать, — прервал его корнет, хохоча по поводу собственного остроумия.

— Экая, подумаешь, важность, сгорит ли эта сволочь раньше или позже, а вот адмирал, однако, поверите ли, господин Мержи, рассердился, рассвирепел не на шутку, приказал меня арестовать и тут без больших обрядов поставили меня под виселицу. Ну, тогда все дворяне и окружавшие его сановники, вплоть до самого Ла-Ну, совсем без нежностей относящегося к солдатам (Ла-Ну, как верно говорят, всегда хватает через, никогда не остановится раньше), вместе со всеми капитанами стали просить о моем прощении. А он уперся и отказал наотрез. Всю зубочистку искусал от бешенства, словно в исполнение поговорки: «Спаси господи от молитвы господ на Монморанси и от адмиральской зубочистки». «Эту мародерщину, — сказал он, — надо задушить, пока она еще ростом с девчонку, а ежели мы дадим ей вырасти в этакую бабищу, так она сама нас задушит». Тут, откуда ни возьмись, пас-

тор с книжкой подмышкой, и ведут нас обоих к некоему общеизвестному дубу… еще теперь он у меня перед глазами, с огромным суком, торчащим словно нарочно для этого самого дела. И вот надели мне на шею веревку… всякий раз как эту веревку вспомню, так вот горло и пересохнет, так вот и жжет, и горит, словно трут под огнивом…

— На-ка, выпей, — сказала Мила и налила рассказчику полный стакан.

Капитан выпил залпом и сказал:

— Я уж самому себе казался чем-то вроде жолудя на дубовой ветке. Как вдруг мне пришло в голову кое-что сказать адмиралу: «Эх, достоуважаемый монсеньор, да разве можно так вздернуть на виселицу человека, который водил в огонь отряды *отчаянных* молодцов при Дрё?» Вижу, он перекусил зубочистку, сплюнул, принялся за вторую. Я думаю: «Вот прекрасно! Хороший знак!» А он подозвал капитана Кормье и что-то тихонько ему сказал. Потом обращается к палачу: «Ну, что мешкаешь? Вздернуть парня!» А сам отвернулся в сторону. И вздернули меня на самом деле. Но молодчина этот капитан Кормье: выхватил он шашку и мгновенно разрубил веревку. Свалился я с дубовой ветки краснее вареного рака…

— Поздравляю, — сказал Мержи, — дешево

отделались.

Мержи внимательно смотрел на капитана. Он испытывал состояние неловкости от общества человека, по заслугам приговоренного к виселице. Но в те тяжелые времена преступления были так заурядны, что их нельзя было судить со строгостью нынешнего века. Жестокости одной стороны делали естественными суровые меры пресечения их, предпринятые другой стороной, а религиозная ненависть гасила всякий огонь национальной приязни. Надо сказать правду, тайные знаки внимания со стороны цыганки, которую Мержи стал находить красивой под влиянием винных паров, круживших его молодую голову скорее, чем привычные головы рейтаров, делали его в эту минуту особенно снисходительным к собутыльникам.

— Я целую неделю прятала капитана в крытой телеге, — сказала Мила, — и позволяла выходить ему только по ночам.

— А я, — подхватила Трудхен, — кормила его и поила. Вот пусть он сам это подтвердит.

— Адмирал сделал вид, что очень рассердился на Кормье, но все это была разыгранная комедия. Но что касается меня, то я долго тащился в арьергарде, не смея показаться адмиралу на глаза. И

вот пришел день осады Лоньяка. Он увидел меня в редуте и говорит: «Дитрих, дружище, раз ты не повешен, так будешь застрелен», и показывает мне рукой на выход из редута. Я его понял. И кинулся в атаку, а через день встречаю его на главной улице города, протягиваю ему шляпу, простреленную пулями. «Монсеньор, — говорю я ему, — меня расстреляли с таким же успехом, как и повесили». А он улыбается и протягивает мне кошелек со словами: «Ну, вот тебе, купи новую шляпу». С тех пор мы стали друзьями. Да, штурм этого Лоньяка был штурмом, а как заняли город, прямо вспомнить сладко этот день!

— Ах, какие там шелковые платья! — воскликнула Мила.

— А сколько прекрасного белья! — воскликнула Трудхен.

— Самое горячее дело было все-таки у монахинь главной обители, — отозвался корнет. — Две сотни кавалерийских стрелков упросили стать на постой к сотне монашенок…

— И больше двадцати из них отреклись от папизма, — сказала Мила, — вот до чего пришлись по вкусу им гугеноты!

— Да, там стоило посмотреть на моих аргуле-

тов[13], — воскликнул капитан. — Ведут коней на водопой, а сами в церковных ризах. Овес кони ели на алтарях, а их славное церковное вино мы глотали из серебряных поповских посудин.

Он повернул голову, чтобы еще потребовать вина, и увидел трактирщика со сложенными руками, с глазами, поднятыми к небу в неописуемом ужасе.

— Ну и болван! — сказал удалец Горнштейн, пожимая плечами. — Ну, можно ли быть таким идиотом, чтобы верить всей брехне католических болтунов в рясе! Знаете ли, де-Мержи, в битве под Монконтуром я убил пистолетным выстрелом одного дворянчика из отряда герцога Анжуйского; когда я снял его камзол, как вы думаете, что я увидел у него на животе? Большой кусок шелка, вышитый именами святых. Этой штукой он хотел спастись от пуль. Чорта с два! Я ему доказал, что протестантская пуля пробьет любую тряпку, сколько бы ее ни святили католические попы.

— Тряпки, конечно, ни черта не стоят, — вмешался корнет. — А вот у меня на родине продается пергамент, кусочки которого спасают от свинца и железа.

---

[13] Примечания: 13

Карабинеры в кавалерийской разведке.

Примечание переводчика.

— А я всему предпочитаю панцырь из кованой стали, — заметил Мержи. — Из тех сортов, что в Нидерландах кует Яков Лешо.

— А вот послушайте, — снова возразил капитан, — не отрицайте, что можно добиться непроницаемости. Смею вас уверить, что я сам видел в битве при Дрё некоего дворянчика, которому пуля угодила прямо в грудь. Но он знал один состав, который сделал его неуязвимым, и натерся этой мазью под нагрудником из кожи буйвола, так что даже пуля не оставила кровоподтека, бывающего при контузиях.

— А вы не думаете, что дело сделал этот нагрудник из буйволовой кожи, о котором вы сказали, что это он ослабил удар пули?

— Ну, уж вы, французы, ничему не хотите верить. А что бы вы сказали, если бы увидели, как я, своими глазами, как один силезский латник распластал руку на столе и кто ни бил с размаху по ней ножом, не мог сделать даже царапины? Вы смеетесь, вам кажется невероятным? Спросите у Милы, она из той страны, в которой колдуны так же часты, как здесь монахи. Она порасскажет вам жуткие истории. Иной раз осенью, в долгие вечера, вокруг костров и под открытым небом, она рассказывала нам такие приключения, что

волосы шевелились на голове от ужаса.

— С каким бы удовольствием я послушал такую историйку, — сказал Мержи. — Красотка Мила, сделай это одолжение.

— В самом деле, Мила, — поддержал эту просьбу капитан, — расскажи-ка нам какую-нибудь историю, пока мы будем осушать эти бутылки.

— Хорошо, слушайте… А ты, молодой кавалер, ни во что не верящий, все свое неверие оставь пока при себе.

— Кто тебе сказал, что я ни во что не верю? — сказал Мержи вполголоса. — Право, я верю в то, что ты меня приворожила и я влюбился по уши.

Мила тихонько его оттолкнула, так как шепчущие губы Мержи были совсем у ее щеки, и, осмотревшись кругом быстрым взглядом, чтобы удостовериться в том, что все ее готовы слушать, она приступила к рассказу.

— Ну, капитан, вы, конечно, бывали в Гаммельне?

— Ни разу.

— А ты, корнет?

— Тоже никогда.

— Как же так, неужто здесь нет никого, кто бывал в Гаммельне?

— Я прожил там целый год, — сказал один из

стрелков, подошедших к столу.

— Так, Фриц. Значит, ты видел гаммельнскую церковь?

— Еще сколько раз!

— И цветные оконные витражи?

— Ну, разумеется.

— И то, что на стеклах нарисовано?

— На стеклах… на стеклах… да, на окне, по левую сторону, помнится мне, изображен черный великан, играющий на флейте, а за ним бегут маленькие дети.

— Правильно! Так вот я расскажу вам историю черного человека с маленькими детьми. Много лет назад жители Гаммельна страдали от невероятного нашествия крыс, которые наступали с севера такими густыми массами, что вся земля казалась черной; извозчики боялись пускать лошадей через дорогу, по которой шли вереницы этих животных. Все было сожрано дочиста. Съесть на гумне мешок с зерном для этих крыс было таким же обыкновенным делом, как для меня проглотить стакан вина.

Она глотнула, вытерла губы и продолжала:

— Крысоловки, капканы, крысиный яд — ничто не помогало. Из города Бремена затребовали барку, в которой привезли тысячу сто кошек, но

и это оказалось бесполезным: на тысячу истребленных крыс появлялось десять тысяч новых, еще прожорливее прежних. Одним словом, не явись избавление от этой напасти, в Гаммельне не осталось бы ни зернышка, и люди перемерли бы с голоду. Но вот однажды, в пятницу, заявился к городскому бургомистру великан, рот до ушей, в красной куртке, с острым колпаком на голове, в широких штанах с лентами, серых чулках и башмаках с огненными бантами. На боку кожаная сумочка. Я, как живого, его вижу.

Все невольно посмотрели на стену, куда пристально устремлялись глаза цыганки.



— Так значит ты его видела? — спросил Мержи.

— Я-то не видела, но моя бабушка видела и так хорошо запомнила его наружность, что могла бы нарисовать его портрет.

— Ну, и что же он сказал бургомистру?

— Он предложил ему за сто дукатов избавить город от постигшей его напасти. Ясно, конечно, бургомистр и горожане согласились сейчас же и ударили по рукам. Тогда пришелец вынул из кожаной сумки медную флейту и, став на рынке, перед собором, но — заметьте — спиной к церкви, заиграл такую диковинную мелодию, какой никогда не слыхали германские флейтисты. И вот, услышав эту музыку, крысы и мыши из-под стропил и кровельных черепиц, изо всех дыр, нор, амбаров и сараев, сотнями и тысячами сбежались к нему. Пришелец, не прерывая игры на флейте, сдвинулся с места и пошел к берегу Везера. Там, сняв штаны и разувшись, он вошел в воду, а вслед за ним пошли в воду все гаммельнские крысы и утонули. Во всем городе осталась одна единственная крыса. И вы сейчас увидите почему. Колдун — а это был колдун — спросил у одной отставшей крысы, еще не успевшей утонуть: «А почему Клаус-Белый Крыс не явился?»

— «Государь мой, — ответила крыса, — Клаус так стар, что не может ходить». «Ступай за ним», — сказал колдун. И крыса поплелась обратно в город и скоро пришла с огромной белой крысой такой старой, что не могла двигаться сама. Крыса помоложе тащила старую крысу за хвост. И так обе вошли в реку Везер и утонули так же, как и их товарки. Город был от них очищен. Но когда незнакомец пришел в ратушу за условленной платой, то бургомистр и горожане, рассудив, что им больше нечего бояться крыс, и воображая, что они легко могут обойти беззащитного чужеземца, не постыдились предложить ему вместо обещанной сотни только десять дукатов. Незнакомец настаивал, а они его выгнали. И вот тогда он произнес угрозу, что заставит их дорого заплатить, если они в точности не исполнят условия. Горожане хохотом ответили на его слова, выставили его за дверь ратуши, дав ему прозвище «распрекрасного крысолова». Кличку эту подхватили городские мальчишки и ею провожали его по городским улицам вплоть до самых Новых ворот. В следующую пятницу, ровно в полдень, незнакомец снова вошел на рынок. На этот раз на нем была ярко-алая шапка, заломленная с невероятной удалью. Он вынул из сумки новую

флейту, совсем не ту, что в первый раз, и как только заиграл, все гаммельнские мальчики, от шести до пятнадцати лет, собрались к нему и вслед за ним вышли за городскую черту.

— И что же, гаммельнские жители позволили их сманить? — спросили в один голос капитан и Мержи.

— Жители шли следом за ними до горы Коппенберг, вплоть до пещеры, которая теперь завалена. Флейтист вошел в пещеру, и все дети за ним. Еще некоторое время слышались звуки флейты, но мало-помалу они затихли, и потом наступила тишина. Дети сгинули, и с тех пор о них не было ни слуху, ни духу.

Цыганка остановилась, посматривая на лица слушателей и наблюдая, какое впечатление произвел ее рассказ.

Рейтар, живший в Гаммельне, заговорил первый.

— Это все верно, и когда в Гаммельне говорят о каком-нибудь событии, то определяют его срок: «Это случилось через двадцать лет после увода наших ребят… Господин Фалькенштейн разграбил наш город через шестьдесят лет после увода наших ребят».

— Занятнее всего, — сказала Мила, — что в те

времена, совсем далеко от тех мест, в Трансильвании, появились чьи-то дети, хорошо говорившие по-немецки, но они не могли объяснить, откуда они появились. Они переженились на новом месте, научили своих ребят немецкому языку; отсюда и пошло, что в Трансильвании до сих пор говорят по-немецки.

— По-вашему, это и есть гаммельнские ребята, перенесенные туда дьяволом? — спросил Мержи, улыбаясь.

— Бог свидетель, — это всё верно! — воскликнул капитан. — Я бывал в Трансильвании и прекрасно знаю, что там говорят по-немецки, между тем как вокруг слышна какая-то чортовская тарабарщина.

Свидетельство капитана стоило всех прочих возможных доказательств.

— Хотите я вам погадаю? — спросила Мила у Мержи.

— Сделай милость, — ответил Мержи, обняв цыганку за талию левой рукой и показывая ей раскрытую правую ладонь.

Пять минут Мила всматривалась в ладонь, не говоря ни слова и только задумчиво качая головой.

— Ну, говори, красавица, станет ли та, которую

я люблю, моей любовницей?

Мила щелкнула его в ладонь.

— Добрый час… и злой час, — сказала она. — Синие глаза несут и счастье и гибель. А хуже всего, что ты прольешь свою же кровь…

И капитан и корнет молчали, казалось, пораженные зловещим концом этого туманного пророчества.

Корчмарь, стоя в стороне, крестился широким крестом.

— Знаешь, я поверю, что ты настоящая чародейка, если угадаешь, что я сейчас сделаю.

— Ты меня сейчас поцелуешь, — сказала Мила шопотом.

— Она колдунья, — закричал Мержи, целуя ее. Потом он стал тихонько болтать с миловидной гадалкой и, казалось, и он и она хорошо понимали друг друга и столковались быстро.

Трудхен взяла лютню, на которой уцелели почти все струны, и начала наигрывать какой-то германский марш. Потом, когда стрелки стали вокруг нее толпой, она запела на своем родном языке военную песнь, а рейтары во весь голос подхватывали припевы. Капитан, разгоряченный ее примером, запел таким голосом, что задребезжали стекла старую гугенотскую песню, слова

которой были так же дики, как и ее мелодия.

Наш принц Конде убит,
Лежит в сырой земле.
Но Колиньи сидит
Попрежнему в седле.
Проклятые паписты
Бежали далеко
От яростного свиста
Меча Ларошфуко.

Рейтары, разгоряченные вином, разошлись, каждый запел свою песню. Пол покрылся осколками бутылок и посудными черепками. Кухня огласилась руганью, раскатами смеха и пьяными песнями. Однако, вскоре сонливость, под влиянием крепких паров орлеанского вина, овладела головами участников пьяной оргии. Солдаты повалились на скамьи. Корнет, выставив к дверям двух часовых, пошатываясь, искал дорогу к своему ложу. Капитан, еще сохранивший способность итти по прямой, не сворачивая с дороги, поднялся по лестнице в комнату трактирщика, выбранную капитаном, так как это была лучшая комната корчмы.

А что же Мержи и цыганка? Их не было в ком-

нате в ту же минуту, когда капитан затянул свою песню.

Глава вторая
ДЕНЬ ПОХМЕЛЬЯ

***Носильщик**. Говорят вам: платите деньги немедленно.*

Мольер, «Жеманницы».

День уже разгорелся, когда Мержи проснулся с головой, тяжелой от вчерашнего вечера. Его платье было разбросано по комнате. Дорожный баул, открытый, валялся на полу. Приподнявшись на кровати, он смотрел некоторое время на окружающий его беспорядок и почесывал голову, собираясь с мыслями. Лицо выражало одновременно утомление, изумленное состояние и даже тревогу.

По каменной лестнице, которая вела к нему в комнату, раздались тяжелые шаги. Дверь открылась без всякого стука, и вошел трактирщик, еще более мрачный, чем накануне. Но в глазах его было выражение наглости, сменившей вчерашний страх.

Он огляделся в комнате и осенил себя крестом, словно охваченный ужасом при виде такого беспорядка.

— Ах, молодой кавалер, — воскликнул он, — вы еще в постели! Ну, пора вставать, давайте сочтемся.



— Что за беспорядок, кто смел раскрыть баул? — сказал Мержи тоном, не менее недовольным,

чем тон трактирщика. Мержи грозно зевнул и спустил одну ногу с кровати.

— Почему, почему, — передразнил корчмарь. — А я почему знаю? Много мне дела до вашего баула! Вы сами у меня во всем доме наделали еще не такой беспорядок. Но, клянусь св. Евстафием, вы мне за все заплатите. Это так же верно, как то, что я ношу имя этого святого.

Пока он говорил, Мержи натягивал на себя ярко-алые штаны и при этом движении из отстегнутого кармана выпал кошелек. Должно быть, стук об пол, произведенный кошельком, показался Мержи необычайным. Нагнувшись, он тревожно поднял его и открыл.

— Я обокраден, — крикнул он, обернувшись к трактирщику.

Вместо двадцати золотых экю, бывших в кошельке, он нашел только два.

Дядя Евстафий пожимал плечами и презрительно улыбался.

— Я обокраден, — повторял Мержи, торопливо подпоясываясь. — В кошельке было двадцать золотых, и я требую, чтобы мне их вернули. Их украли у меня в вашем доме.

— Ну, я очень рад, клянусь бородой, очень рад, — нагло кричал трактирщик. — Это вам урок,

чтобы не возиться с ведьмами да воровками. Впрочем, — прибавил он потише, — на ловца и зверь бежит. Без вас всех скучает Гревская[14]. Еретик, колдун и вор идут по одной дороге.

— Что ты мелешь, сволочь! — закричал Мержи, разозленный тем сильнее, чем больше он сознавал справедливость упрека. И, как всякий неправый человек, он вцепился в первый предлог для ссоры.

— Я мелю, — отвечал трактирщик, подбочениваясь, — я мелю о том, что вы разгромили мое жилье, и требую, чтобы вы мне заплатили все до последней монетки.

— Я заплачу за свой постой и ни полушки лишней. Где эти… капитан Корн… Горнштейн?

— У меня выпили, — продолжал дядя Евстафий, — больше двухсот бутылок хорошего старого вина, и ответите мне за это вы.

Мержи кончил одеваться.

— Где капитан? — кричал он громким голосом.

— Уже два часа, как он убрался, и пусть чорт унесет таким же манером всех гугенотов, пока мы не сожгли их всех живьем.

Здоровенная пощечина была единственным от-

---

[14] Примечания: 14

Площадь в Париже — обычное место казни.

Примечание переводчика.

ветом, который в эту минуту нашелся у Мержи.

Сила и неожиданность удара откинули трактирщика на два шага назад. Роговая рукоять большого ножа торчала у него из кармана. Рука трактирщика легла на нее. И, несомненно, произошло бы большое несчастье, если бы он уступил первому порыву ярости, но рассудительность одержала верх над его пылом, как только он заметил, что Мержи протягивает руку к широкой шпаге, висевшей над кроватью у изголовья. Он мгновенно отказался от неравного боя и, стремительно сбегая по лестнице, кричал во все горло: «К оружию, убивают!»

Выиграв бой, но испытывая беспокойство за последствия своей победы, Мержи подпоясался, положил за пояс пистолеты, запер баул и, держа его в руках, решил итти с жалобой в ближайший суд.

Он открыл дверь и уже стал спускаться по лестнице, когда внезапно перед ним оказалась целая армия врагов.

Первым шествовал трактирщик со старой алебардой в руках. Три поваренка, вооруженные вертелами и скалками, следовали за ним. Сосед корчмаря, держа в руках ржавую пищаль, образовывал собою войсковой арьергард. Ни та, ни

другая сторона не ждали такой быстрой встречи. Всего пять-шесть ступенек разделяли вражеские лагери.

Мержи уронил баул и схватил пистолеты. Этот жест врага дал понять дяде Евстафию и его спутникам всю невыгодность их боевого расположения. Подобно персам в Саламинской битве, они не позаботились выбрать такую позицию, которая обеспечивала бы выгоду их многочисленности. Единственный воин их армии, имевший в руках огнестрельное оружие, не мог им воспользоваться, не ранив при этом своих товарищей, в то время как пистолеты гугенота, имевшие перед собой возможность обстрела лестницы на всем протяжении, казалось, должны были всех нанизать на один выстрел. Легкий треск пистолетного курка, взведенного Мержи, достигнув их слуха, показался им столь страшным, как будто он был оглушительным взрывом. Невольно неприятельская колонна сделала налево кругом и бросилась в кухню, ища там более обширного и выгодного поля для битвы. В переполохе, неразлучном спутнике стремительных отступлении, трактирщик, желая повернуться с алебардой, споткнулся на нее и упал. Мержи — великодушный противник — не удостоил их выстрелом и удовольствовался

тем, что швырнул в них баулом, который рухнул на них, как обломок горы, и, ускоряя движение, скатываясь вниз по лестнице, завершил разгром вражеского отряда. Лестница была очищена от врагов, сломанная алебарда лежала в качестве трофея.

Мержи стремительно побежал на кухню, где враг уже успел построиться в шеренгу. Владелец пищали держал наготове свое оружие и раздувал тлеющий пальник.

Окровавленный трактирщик, разбивший нос при падении, держался в тылу своих друзей, подобно раненому Менелаю, оставшемуся в дальних рядах греческого войска. Вместо Махаона и Подалира[15] супруга трактирщика с растрепанными волосами и сбитым набок чепцом оттирала ему лицо грязной кухонной салфеткой.

Мержи без колебаний приступил к действию. Он прямо пошел на того, кто держал пищаль, и приставил ему к груди пистолет.

— Брось пальник или умрешь! — закричал он.

Пальник упал на пол, а Мержи погасил его, наступая каблуком сапога на дымящийся конец веревки. Тотчас же вся союзная армия сложила оружие.

— А что касается тебя, — сказал Мержи трактирщику, — то маленький урок, который ты сейчас получил, научит тебя быть поучтивее с

---

[15] Примечания: 15

Махаон и Подалир — описываемые Гомером сыновья Асклепия, или Эскулапа, знаменитого врачевателя, унаследовавшие от отца медицинское дарование.

Примечание переводчика.

приезжим. Если б только я захотел, я сумел бы тебя заставить властью бальи[16] снять трактирную вывеску, но я не злопамятен. Теперь скажи, сколько я тебе должен за постой?

Дядя Евстафий, видя, что тот спустил курок своего ужасного пистолета и продолжал говорить, засунув пистолет за пояс, понемногу ободрился и, все еще утирая лицо, печально прошептал:

— Побить посуду, перебить людей, расквасить нос честному христианину... поднять адский галдеж... я даже не знаю, как после этого можно вознаградить честного человека!

— Ну, — прервал его Мержи, улыбаясь, — за твой разбитый нос я заплачу столько, сколько он, по-моему, стоит. За битую посуду взыскивай с рейтаров — это их рук дело. Я хочу только знать, сколько я должен за вчерашний ужин.

Трактирщик глядел на жену, на поварят и соседа, словно спрашивая их совета и покровительства.

— Рейтары, рейтары, — повторял он, — получишь с них деньги: капитан дал мне три ливра, а корнет пихнул ногой.

Мержи достал один из последних оставшихся у

---

[16] Примечания: 16

Лицо, исполнявшее судебные обязанности по поручению феодального владельца данной местности.

него золотых экю.

— Ну, хорошо, — сказал он, — расстанемся друзьями, — и бросил золотой дяде Евстафию, который, вместо того чтобы протянуть руку за монетой, презрительно дожидался, пока она звякнет об пол.

— Один золотой! — воскликнул он. — Один золотой за сто бутылок! Один золотой за разгром целого дома! Один золотой за избиение людей!

— Один золотой, всего один золотой, — подхватила его жена плаксивым голосом. — Бывали у нас и католические дворяне, которые тоже иногда любили чуточку пошутить, но те, по крайности, знали цену вещам.

Если бы кошелек Мержи был в порядке, он, несомненно, поддержал бы щедрую славу своей партии.

— Весьма возможно, — сказал он сухо, — но ваших католических дворян тут не обворовывали. Ну, решайте! — добавил он. — Берите золотой или ничего.

Он сделал шаг вперед, делая вид, что хочет подобрать монету, но трактирщица быстро ее схватила.

— Ну, а теперь сейчас же привести мою лошадь, а ты оставь свой вертел и неси баул!

— Вашу лошадь, господин? — сказал один из слуг Евстафия с гримасой.

Трактирщик, несмотря на горе, поднял голову, и на мгновение его глаза загорелись злорадством.

— Вашу лошадь… да, я сейчас ее сам приведу, мой добрый сеньор.

С этими словами он вышел, не отнимая салфетки от носа. Мержи шел за ним.

Каково же было его удивление, когда, вместо его прекрасного темно-бурого коня, ему подвели маленького пегаша — старую, чесоточную лошаденку, обезображенную широким шрамом, шедшим через всю голову. Вместо седла, покрытого тончайшим фландрским бархатом, он увидел простое солдатское седло из кожи и железа.

— Это что значит? Где моя лошадь?

— Пусть ваша честь потрудится спросить об этом господ протестантских рейтаров, — ответил с фальшивой почтительностью трактирщик, — эти вполне достойные чужестранные граждане увели вашу лошадь с собой: надо полагать, что они обознались в силу большого сходства этих коней.

— Прекрасная лошадь, — сказал один из поварят. — Бьюсь об заклад, что ей не больше двадцати лет.

— Ну разве можно отрицать, что это настоящий боевой конь? — сказал другой поваренок. — Посмотрите, какой сабельный удар на голове.

— Ах, какая благородная масть, — добавил первый. — Ну, совсем как пасторские цвета: белый и черный.

Мержи заглянул в конюшню. Она была пуста.

— Как вы смели допустить, чтобы увели мою лошадь? — кричал он в ярости.

— Тьфу ты пропасть! Послушайте, добрый барин, — сказал работник, на попечении которого была конюшня. — Ведь это трубач ее увел, и он мне сказал, что вы уговорились с ним поменяться.

Ярость душила Мержи. Ощущение несчастья не давало ему возможности ни на что решиться.

— Поеду, разыщу капитана, — ворчал он сквозь зубы. — Он строго взыщет с мерзавца, который украл мою лошадь.

— Разумеется, — сказал трактирщик. — Ваша милость правильно поступит, потому что этот капитан… как его там зовут… у него этакая морда честного человека.

Но Мержи уже подумывал о том, что если капитан и не дал прямого приказа о своде его лошади, то во всяком случае содействовал этому.

— Кстати, за один раз вы сможете вернуть ваши золотые у этой молодой особы; она, конечно, чуточку обозналась, связывая свои узелки нынче на рассвете.

— Прикажете приторочить баул вашей милости к седлу, на лошадку вашей милости? — спросил мальчик-конюшенный самым почтительным и самым обескураживающим голосом.

Мержи понял, что чем дольше он будет здесь оставаться, тем больше ему придется выслушивать насмешки от этих каналий. Баул был приторочен. Он вскочил на отвратительное седло, а лошадь, почувствовав нового седока, возымела злостное желание испытать его искусство всадника. Однако, она немедленно убедилась, что несет на себе прекрасного наездника, совершенно не расположенного к ее конским шуткам. Таким образом, после нескольких подбрасываний задних ног, получив щедрую награду жестокими ударами острых шпор, она благоразумно решила покориться и пошла крупной рысью. Но, израсходовав часть своих сил в борьбе с новым всадником, она обессилела, как все клячи в таких случаях и, как говорят, «села на четыре ноги». Наш герой поднялся с седла слегка ушибленный, но больше всего взбешенный

улюлюканьем, раздавшимся ему вслед. Минуту он колебался, не вернуться ли ему и отомстить несколькими ударами шпагой плашмя, однако, размыслив здраво, он сделал вид, что не слышит оскорблений, посылаемых ему издали, и потихоньку направился по орлеанской дороге, преследуемый на расстоянии ватагой ребят, из которых те, которые были постарше, напевали песенку о Жеане Петакене[17], в то время как те, что были поменьше, изо всех сил кричали:

— Подкинем хворосту под костер гугенотов!

Проделав шагом довольно печально около полумили, Мержи сообразил, что рейтаров он вряд ли успеет настигнуть сегодня, что конь его наверняка продан, да и вообще более чем сомнительно, чтобы эти господа согласились на возвращение чего-либо владельцу. Постепенно он примирился с мыслью, что лошадь для него пропала безвозвратно, а допустив эту мысль, он уже не имел никакой надобности ехать по орлеанской дороге и свернул обратно в Париж, выбрав скорее прямое направление, чтобы избегнуть проезда мимо злополучной корчмы — свидетельницы его

[17] Примечания: 17

Смехотворная особа старинных народных песен. Полная аналогия «Иванушке-дурачку».

Примечание переводчика.

несчастий. С молодых лет привыкнув быстро во всем находить хорошую сторону, он мало-помалу убедился, что дешево и счастливо выпутался из беды, что его не убили, не ограбили дочиста; у него остался золотой, уцелело на нем самом его платье и лошадь, которая, несмотря на уродство, все же несла его на себе. И если уж говорить всю правду, то воспоминания о миловидной цыганке не раз вызывали улыбку на его лице. Словом, после нескольких часов дороги и хорошего завтрака он чувствовал себя растроганным деликатностью этой честной девицы, унесшей у него всего лишь восемнадцать золотых из кошелька, где было полных двадцать. Примириться с потерей темно-бурого жеребца было много труднее, но он не мог не согласиться, что более жестокий вор свел бы его коня и не потрудился бы оставить ему никакой замены. Вечером он достиг Парижа совсем незадолго до закрытия городских ворот и остановился в гостинице на улице св. Якова.

Глава третья
ПРИДВОРНАЯ МОЛОДЕЖЬ

***Якимо**. Кольцо мое.*
***Постумн**. Но камень не легко добыть.*
***Якимо**. Пустяк! Поможет мне супруга ваша.*

Шекспир, «Цимбелин».

Отправляясь в Париж, Мержи рассчитывал благодаря влиятельным рекомендациям к адмиралу Колиньи получить назначение в армию, которая, как говорили, выступает в поход на Фландрию под командой этого великого начальника. Он льстил себя надеждой, что отцовские друзья облегчат ему первые шаги и откроют ему доступ ко двору короля Карла, а затем к адмиралу, имевшему как бы собственный двор. Мержи знал, что брат его пользуется большим влиянием, но был еще в нерешительности, следует ли ему обращаться к брату. Вероотступничество Жоржа де-Мержи сделало его в семье чужим человеком. То не был единственный случай развала семейного единства из-за разногласий в вероисповедании. Уже давно отец запретил

произносить в своем присутствии имя вероотступника, ссылаясь на евангельское оправдание своей строгости: «*Если правое око соблазняет тебя, вырви его сам*». Хотя молодой Бернар не был столь непреклонен, все же перемена веры казалась ему пятном, позорящим честь его семьи, и чувство братской привязанности неизбежно страдало от этого сознания.

Еще ничего не решив относительно брата, и раньше чем он успел разнести рекомендательные письма, он пришел к заключению, что нужно позаботиться о восполнении пустого кошелька, и с этой целью вышел из гостиницы по направлению к мосту св. Михаила, где жил ювелир, задолжавший его семье некоторою сумму денег, на получение которых Мержи имел доверенность.

При входе на мост он встретил несколько молодых людей, одетых с большим изяществом. Идя под руку, они совсем перегородили узкий ход между двойной стеной ларьков и лавочек, закрывавших реку от пешеходов. Позади этих господ шли их слуги, несшие в руках длинные, двуострые шпаги в ножнах, так называемые

двойные[18], и кинжал, чашка которого была так широка, что при случае могла заменить щит. Очевидно, что вес этого оружия был слишком тяжел для молодых дворян, а может быть, им хотелось красоваться перед целым светом богатым снаряжением своих слуг.

Казалось, они были в хорошем настроении, судя по беспрерывному смеху: если мимо них проходила прилично одетая женщина, они кланялись ей, смешивая учтивость с нахальством, и, повидимому, им доставляло большое удовольствие задевать локтями степенных буржуа в черных плащах, уступающих им дорогу с ворчней и проклятиями по адресу придворной молодежи. Из всего общества только один молодой человек шел с опущенной головой и, казалось, не принимал участия в развлечениях молодежи.

— Разрази меня господь, если это не Жорж! — воскликнул один из этих молодых людей, хлопая по плечу юношу. — Это ты делаешься мрачным нелюдимкой? Добрых четверть часа ты не раскрываешь рта. Ты что, дал обет молчания, что ли?

---

[18] Примечания: 18

Французской слово duél значит — двойной. Отсюда название поединка на двуострых шпагах, по-русски — дуэль.

Примечание переводчика.

Мержи вздрогнул при имени Жоржа, но он не расслышал, что ответил человек, названный так.

— Бьюсь об заклад на сотню пистолей, — продолжал первый, — что он опять влюбился в какое-нибудь чудовище добродетели. Эх, приятель, жаль мне тебя! Надо же было случиться такой неудаче, налететь в Париже на неприступную красоту.

— Пойди ты к магику, к Рюдбеку, — заговорил другой, — он даст тебе волшебный напиток — и тебя полюбят.

— А может статься, — начал третий, — может статься, что наш приятель капитан влюбился в монашенку. Эти черти гугеноты, обращенные и необращенные, вечно зарятся на христовых невест.

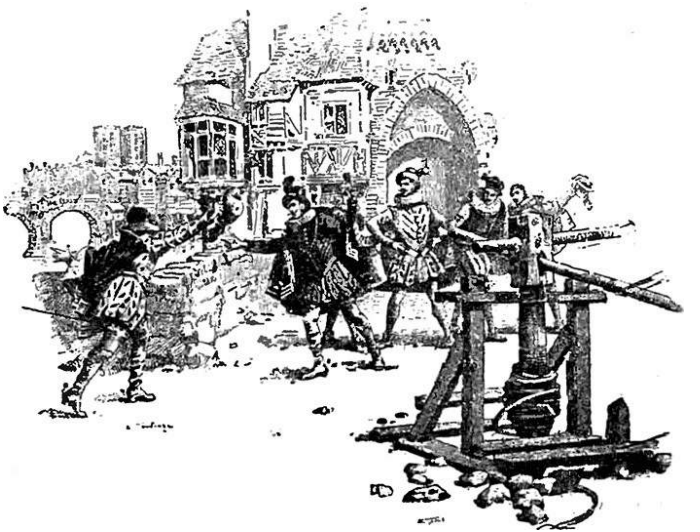
Голос, который Мержи сейчас же узнал, отвечал с грустью:

— Что за чорт! Если б дело шло о любовных делах, я не был бы так печален. Но дело в том, что я, — прибавил он тише, — поручил попу отвезти письмо к моему отцу. Он вернулся и передал мне, что отец упорно не желает слышать моего имени.

— Твой отец — старый кремень, — сказал один из молодых людей. — Он из тех стариков-гугено-

тов, которые хотели захватить Амбуаз.

В эту минуту капитан Жорж случайно оглянулся и заметил Мержи. Вскрикнув от удивления, он бросился к нему, раскрыв объятия. Мержи не колебался ни минуты. Он протянул ему руки и обнял его. Возможно, что, не будь встреча столь неожиданной, он попытался бы вооружиться равнодушием, но то, что она была не предусмотрена, обеспечила все права естественному чувству. С этой минуты их встреча протекала, как встреча друзей, вернувшихся из далекого путешествия.



После объятии и первых расспросов капитан Жорж обратился к своим приятелям, к той части их, которая остановилась и наблюдала эту сцену.

— Господа, — сказал он, — видите, какая неожиданная встреча. Простите, если я вас оставлю для беседы с братом, которого я не видел более

семи лет.

— Нет, чорт побери, на это мы не согласны, не допустим, чтобы ты оставил нас сегодня. Обед заказан, твое присутствие необходимо.

С этими словами говоривший схватил его за плащ.

— Бевиль прав, — сказал другой, — мы не позволим тебе уйти.

— Да что там, чорт возьми! — снова заговорил Бевиль, — пусть и твой брат идет с нами обедать. Вместо одного доброго товарища у нас будет два.

— Извините меня, — сказал тогда Мержи, — у меня много дела на сегодня, надо передать письма…

— Передадите завтра.

— Никак нельзя, так как они должны быть вручены сегодня же, и к тому же, — добавил Мержи со смущенной улыбкой, — признаюсь, я без денег, и мне нужно их раздобыть.

— Ну, ей-богу, замечательная отговорка, — воскликнули все в один голос, — так мы вам и позволим отказаться обедать с добрыми христианами ради того, чтобы бежать за деньгами к ростовщикам.

— Вот, друг мой, — произнес Бевиль, с легкой рисовкой потряхивая длинным шелковым ко-

шельком, висящим на поясе. — Считайте меня своим казначеем. Уже две недели как мне чортовски везет в игре!

— Ну, идемте без задержек, идемте обедать в «Мор», — подхватили остальные молодые люди.

Капитан взглянул на брата, остававшегося в нерешительности.

— Ладно, успеешь передать свои письма. Что касается денег, то и у меня их достаточно. Идем с нами. Сейчас увидишь парижскую жизнь.

Мержи уступил. Брат представил его по очереди каждому из своих друзей: барону Водрейлю, кавалеру Рейнси, виконту Бевилю и прочим. Они осыпали приветствиями вновь прибывшего, причем он обязан был каждому ответить поцелуем по старинному светскому обряду. Бевиль принял это приветствие последним.

— Ого, — воскликнул он, — разрази меня бог, дружище, но я чувствую еретический дух. Ставлю золотую цепь против пистоли, что вы интересуетесь религией.

— Вы правы, сударь мой, но не в той мере, в какой это надлежит.

— Но вот, посмотрите, разве я не умею отличить гугенота? Загрызи меня волчица! Какой, однако,

эти колласские коровы[19] принимают на себя серьезный вид, когда заговорят об их религии.

— Думается мне, что не надо бы в шутку говорить о таких.

— Господин Мержи прав, — сказал барон Водрейль, — и с тобой, Бевиль, когда-нибудь случится беда в наказанье за твои скверные шутки над священными вещами.

— Взгляните вы только на эту святую рожу, — обратился Бевиль к Мержи. — Ведь он самый отъявленный распутник среди нас, а вот время от времени не может удержаться от проповедей.

— Оставь меня таким, каков я есть, — сказал Водрейль. — Я распутничаю потому, что не могу ничего с собой поделать, но, знаешь ли, я уважаю то, что заслуживает уважения.

— Что касается меня, я весьма уважаю… свою мать; единственная честная женщина, которую я знаю, а кроме того, милый друг, для меня решительно все равно: католики, гугеноты, паписты, евреи или турки; меня их распри интересуют не больше, чем сломанные шпоры.

— Нечестивец, — ворчал Водрейль и перекрестил свои рот, маскируя это движение приклады-

---

[19] Примечания: 19

Сатирическая кличка, данная протестантам католикам.

Примечание переводчика.

ванием носового платка.

— Ты должен знать, Бернар, — сказал капитан Жорж, — что среди нас ты едва ли встретишь спорщиков, подобных нашему ученому Теобальду Вольфштейниусу. Мы не придаем большого значения богословским спорам и, слава богу, умеем лучше использовать наше время.

— Быть может, — возразил Мержи с некоторой горечью, — быть может, для тебя было бы предпочтительнее обратить некоторое внимание на эти ученые рассуждения, достойные священнослужителя, имя которого ты сейчас произносишь.

— Оставим этот предмет разговора, милый брат. В другой раз я, быть может, возобновлю этот разговор. Я знаю, что у тебя сложилось на мои счет мнение… ну, все равно, здесь мы вовсе не для разговоров об этом… Я считаю себя честным человеком и ты, конечно, увидишь это в один прекрасный день. Но, кончим на этом. Сейчас будем думать о том, чтобы хорошенько позабавиться.

Он провел рукой по лицу, как будто желая прогнать тягостные мысли.

— Дорогой брат! — тихо произнес Мержи, пожимая ему руку. Жорж ответил ему на рукопожатие, и оба догнали товарищей, шедших впереди.

Проходя вдоль Луврского дворца, из которого

выходило немало богато одетых людей, капитан и его друзья приветствовали встречных, обменивались поклонами и церемонными приветствиями. В то же время они успевали представить встречным молодого Мержи, который в одну минуту успел перезнакомиться с знаменитейшими людьми своего времени. Одновременно ему шептали данные этим людям насмешливые прозвища (ибо тогда каждый выдающийся человек имел свою кличку) и скандальные сплетни, сопровождавшие репутацию каждого из них.

— Видите, — говорили ему, — вот этого бледного желтого советника? Это мессир Petius de Finibus[20], а по-французски Пьер-Сегье (Петр-успешник), ловкач во всех делах, которые он доводит до желанной границы. А вот маленький капитан Брюльбан[21] — Торе де-Монморанси; а дальше начальник бутылочной епархии[22]. Он прямо сидит на муле, пока еще не успел по-

---

[20] Примечания: 20

Буквальное значение: «Петр, доводящий все до желанного предела»

Примечание переводчика.

[21] Примечания: 21

Буквально: «Жги, скамья»; переносное значение: непоседа, человек, под которым горит сиденье.

Примечание переводчика.

[22] Примечания: 22

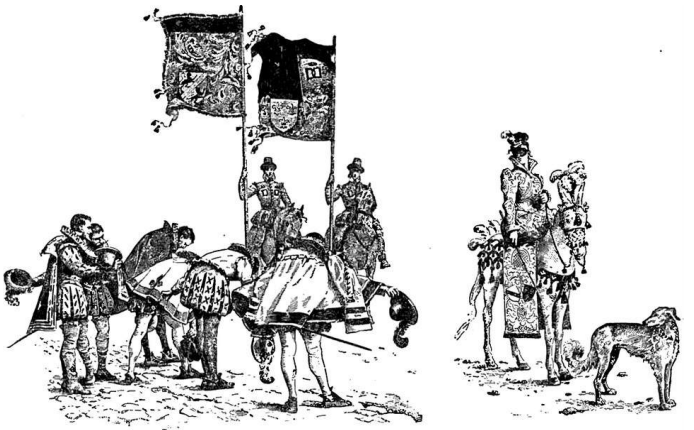
Прозвище архиепископа Гиза.

обедать. А вот один из героев вашей партии — храбрец граф Ларошфуко, прозванный «капустным рубакой». В последнюю войну он бросил своих пищальников в атаку на капустный огород, приняв его сослепу за ландскнехтов.

Не прошло и четверти часа, как Мержи знал уже имена любовников почти всех придворных дам и количество дуэлей ради каждой из них. Он обратил внимание на то, что слава светской женщины росла вместе с количеством смертей, причиненных ее красотой. Так, дама де-Куртавель, любовник которой убил наповал двух соперников, пользовалась не в пример большим почетом, чем бедная графиня Померанд, послужившая поводом всего лишь к одной пустячной дуэли, окончившейся легким ранением.

Внимание Мержи приковала женщина высокого роста, ехавшая верхом на белом муле в сопровождения стремянного и двух слуг. Ее платье, вышитое по последней моде, пыжилось от обилия шитья. В той мере, в какой можно было видеть ее лицо, она была красива. Известно, что в ту эпоху дамы не выезжали иначе, как в масках. Маска на ней была сделана из черного бархата и сквозь прорезы сияла кожа ослепительной белизны и глядели темно-синие глаза.

Проезжая мимо молодежи, она замедлила шаг своего мула и, казалось, с некоторой долей любопытства посмотрела на Мержи, лицо которого ей было незнакомо. При ее появлении все перья на шляпах метлой прошли по земле, и она в ответ на многочисленные приветствия армии почитателей отвечала легким и грациозным кивком головы. Когда она проехала мимо, дуновение ветра закинуло край длинной атласной юбки, и, как молния, сверкнули перед глазами и маленькая туфля из белого бархата, и розовый чулок из шелка, открывшийся на несколько дюймов.



— Кто эта дама, которую так приветствуют? — спросил Мержи с любопытством.

— Уже влюбился! — воскликнул Бевиль. — В конце концов, не может быть иначе: и гугеноты и паписты — все одинаково влюбляются в графиню Диану де-Тюржис.

— Это одна из придворных красавиц, — добавил Жорж, — одна из опаснейших чаровниц для нас, молодых волокит. Но, побери меня чума, эту

крепость взять не легко.

— Ну, а сколько дуэлей приходится на ее счет? — со смехом спросил Мержи.

— О, она их считает по двадцать, — ответил барон Водрейль, — но самое лучшее то, что она хотела сама драться на дуэли и послала формальный вызов одной придворной даме, которая переступила ей дорогу.

— Какие сказки! — воскликнул Мержи.

— Не она первая, — сказал Жорж, — не она начала женские дуэли. Она послала вызов по всем правилам госпоже Сент-Фуа, приглашая со на смертный бой на шпагах и кинжалах в сорочках, как сражаются дуэлисты утонченного порядка[23].

— Как мне хотелось бы выступить секундантом одной из этих женщин, чтобы увидеть их обеих в ночных рубашках, — сказал кавалер Рейнси.

— И что же, дуэль состоялась?

— Нет, — ответил Жорж. — Их помирили.

— Он сам же их помирил, — заметил Водрейль, — он был тогда любовником Сент-Фуа.

— Да ну тебя, не больше, чем ты сам, — скромно возразил Жорж.

---

[23] Примечания: 23

Дуэлистами «утонченного порядка» назывались дуэлисты-профессионалы.

— Тюржис — вроде Водрейля, — сказал Бевиль, — она делает месиво из религии и нынешних нравов; вызывает драться на дуэли, что я считаю смертным грехом, и выстаивает в день по две обедни.

— Оставь меня в покое с моими обеднями, — воскликнул Водрейль.

— Ну, а если она ходит к обедне, то только для того, чтобы показать себя без маски, — вставил свое мнение Рейнси.

— Правильно! Я уверен, что многие женщины ходят к обедне только ради этого, — заметил Мержи, радуясь случаю посмеяться над католиком.

— Так же, как и на протестантскую проповедь, — сказал Бевиль. — Когда пастор кончает речь, свечи гаснут, и хорошенькие дела делаются тогда в темноте. Умереть можно! Прямо, я жажду стать лютеранином.

— Вы, кажется, верите этим нелепым россказням? — спросил Мержи с презрением.

— Верю ли я? Маленький Феран, наш общий друг, нарочно ездил в Орлеан на проповеди, чтобы устраивать там свидания с женой нотариуса. Ах, чорт возьми, какая великолепная женщина! Я, прямо, весь таял, когда он мне рассказывал о ней. Он только там и мог с ней видеться. Но

счастью, один из его приятелей, гугенот, сообщил ему пароль для свободного входа. Он приходил на проповедь и там в темноте… ну, уж я предоставляю вашему воображению дополнить, как он там не терял времени.

— Это совершенно невозможно, — сухо заявил Мержи.

— Невозможно, а почему?

— Потому что никогда протестант не позволит себе такой низости, чтобы привести к нам на проповедь паписта.

Этот ответ вызвал взрыв хохота.

— Ах, боже мои, — сказал барон де-Водрейль, — вы, очевидно, думаете, что раз человек стал гугенотом, то он не может быть ни вором, ни предателем, ни сводником.

— Он с луны свалился, — воскликнул Рейнси.

— Что касается меня, — заметил Бевиль, — то если бы мне нужно было передать любовную записку гугенотке, я обратился бы к ее священнику.

— Несомненно, — возразил Мержи, — потому что вы привыкли давать поручения подобного рода вашим попам.

— Нашим попам… — произнес Водрейль, краснея от гнева.

— Бросьте ваши споры, наводящие тоску, — прервал их Жорж, заметив, что каждая реплика сопровождается все большей и большей оскорбительной остротой. — К чорту ханжей всех лагерей! Я предлагаю: пусть каждый, кто произнес слово гугенот, папист, протестант, католик, — подвергается штрафу.

— Идет! — воскликнул Бевиль. — Кто проштрафится, тот платит кагорским вином в гостинице, куда мы идем обедать.

На минуту установилось молчание.

— После смерти этого бедняги Ланнуа, убитого под Орлеаном, за графиней Тюржис не числится ни одного явного любовника, — сказал Жорж, не желавший возвращения друзей на почву богословских препирательств.

— Ну, у кого хватит духа утверждать, что парижанка может жить без любовника! — воскликнул Бевиль. — Одно только достоверно, что Коменж прижал ее к стене.

— Так, значит, поэтому-то маленький Наваретт от нее отступился, — сказал Водрейль, — очевидно, он испугался такого страшного соперника.

— А Коменж очень ревнив? — спросил капитан.

— Ревнив, как тигр, — ответил Бевиль. — Готов

убить всякого, кто осмелится любить прекрасную графиню. В конце концов, чтобы не остаться без любовника, ей придется допустить к себе Коменжа.

— Что же это за человек, способный внушить такой страх? — спросил Мержи, горевший безотчетным любопытством ко всему, что так или иначе, близко или отдаленно, касалось графини Тюржис.

— Это, — ответил ему Рейнси, — один из наших самых «утонченных дуэлистов». Так как вы приехали из провинции, то позвольте мне объяснить вам значение этого специального слова. Утонченный дуэлист — это волокита, достигший совершенства, дерущийся на дуэли по ничтожному поводу, даже если сосед заденет его краем плаща, даже если кто-нибудь сплюнет в четырех шагах от него. Одним словом, по любому столь же уважительному поводу.

— Коменж, — сказал Водрейль, — затащил однажды кого-то на Пре-о-Клер[24]. Сняли камзолы, обнажили шпаги. «Ведь ты — Берни из Оверни?» — спрашивает Коменж. «Ничуть не бывало, моя

---

[24] Примечания: 24

В тогдашние времена это было классическое место дуэлей. Пре-о-Клер располагалось как раз против Лувра, между Малой Августинской улицей и улицей Бак.

фамилия Вилькье, я из Нормандии». — «Тем хуже, — заявил Коменж, — я принял тебя за другого, но раз я тебя вызвал, то нужно драться», — и он лихо положил его на месте.

Каждый воспользовался случаем, чтобы рассказать пример ловкости и задирательства Коменжа. Тема оказалась богатой, и этого разговора хватило настолько, что они вышли за город и подошли к гостинице «Мор», в саду, неподалеку от того места, где шла постройка Тюильрийского Замка, начатая в 1564 году. Там сошлось множество знакомых дворян, друзей Жоржа, и за стол село большое общество.

Мержи, сидевший рядом с бароном Водрейлем, заметил, как тот, садясь за стол, осенил себя крестом и топотом, с закрытыми глазами, произнес слова странной молитвы: «Laus Deo, pax vivis, salutem defunctis, et beata viscera Virginia Mariae, quae portaverunt Eterni Patris Filium» [25].

— Вы знаете латынь, господин барон? — спросил Мержи.

— А вы слышали мою молитву?

— Да, признаюсь вам, но не понял ее.

---

[25] Примечания: 25

Хвала богу, мир живым, спасение погребенным и блаженно чрево девы Марии, носившее сына предвечного отца.

Примечание переводчика.

— Сказать по чести, я не знаю латыни, я даже не знаю значения этой молитвы, но меня научила тетка, которой эта молитва всегда шла на пользу, и с тех пор как я ее произношу, она и на меня оказывает хорошее воздействие.

— Я представляю себе, что это латынь католическая, а поэтому для нас, гугенотов, она непонятна.

— Штраф! штраф! — закричали сразу Бевиль и капитан Жорж. Мержи исполнил требование великодушно и без споров. Стол покрылся новыми бутылками, не замедлившими привести компанию в веселое расположение духа.

Разговор вскорости стал более громким, и, пользуясь шумом, Мержи стал разговаривать с братом, не обращая внимания на то, что происходило кругом.

К концу второй смены блюд их беседа a parte[26] была нарушена неистовым спором, внезапно возникшим между двумя собутыльниками.

— Это вранье! — восклицал кавалер Рейнси.

— Вранье? — повторил Водрейль, и лицо его, бледное в обычном состоянии, помертвело еще более.

---

[26] Примечания: 26
Отдельный разговор в присутствии общества.
Примечание переводчика.

— Она честнейшая из женщин, целомудреннейшая из всех, — продолжал кавалер.

Водрейль горько улыбнулся, пожав плечами. Все взгляды устремились на участников этой сцены. Казалось, всякий хотел, не вмешиваясь, дослушать, чем кончится спор.

— О чем речь, государи мои? Когда кончится этот гомон? — спросил капитан, как всегда готовый остановить всякую попытку нарушить мир.

— Это вот наш друг, кавалер, — спокойно ответил Бевиль, — уверяет, что Силлери, его любовница, целомудренная женщина, в то время как наш друг Водрейль утверждает, что это не так, что он сам знает кое-что по этому поводу.

Общий взрыв хохота, сопровождавший это заявление, увеличил ярость Рейнси, который горящими глазами смотрел на Водрейля и Бевиля.

— Я мог бы показать ее письма, — произнес Водрейль.

— Не верю этому! — воскликнул кавалер.

— Ну, что же, — сказал Водрейль, злостно издеваясь, — я сейчас прочту этим господам какое-нибудь ее письмо. Возможно, что почерк им известен не хуже, чем мне, так как я не претендую быть единственным из числа осчастливленных ее записками и ее милостями. Вот записочка,

которую я получил от нее не далее, как сегодня.

Он сделал вид, словно шарил в кармане, собираясь достать из него письмо.

— Ты брешешь, фальшивая глотка!

Стол был слишком широк для того, чтобы рука барона могла достать противника, сидевшего против него.

— Ты брешешь, и я заставлю тебя говорить иначе, — воскликнул он, сопровождая этот выкрик бутылкой, брошенной в голову.

Рейнси избегнул удара и, стремительно отшвыривая стул, подбежал к стене, чтобы спять с гвоздя повешенную на ней шпагу.

Все вскочили: одни, чтобы вмешаться в ссору, другие — большинство — чтобы отойти подальше.

— Перестаньте, вы сошли с ума! — воскликнул Жорж, становясь перед бароном, находившимся ближе к нему. — Могут ли друзья драться из-за какой-то жалкой бабенки?

— Бутыль, брошенная в голову, все равно, что пощечина! — холодно сказал Бевиль. — Ну, дружок кавалер, шпагу наголо!

— Честный бой, честный бой! Расступитесь! — кричали почти все сотоварищи по обеду.

— Эй, Жано, запри дверь! — лениво распоря-

дился содержатель «Мора», давно привыкший к таким сценам. — Если лучники[27] будут проходить дозором и влезут сюда, они могут помешать благородным господам, а это повредит моему учреждению.

— Вы, что же, будете драться в столовой, как пьяные ландскнехты? — продолжал Жорж, желавший выиграть время. — Отложите хоть на завтра.

— На завтра? Пусть так, — сказал Рейнси и сделал движение, собираясь вложить шпагу в ножны.

— Наш кавалерчик трусит, — произнес Водрейль.

Тогда Рейнси, расталкивая всех, кто стоял по дороге, бросился на своего противника. Оба с бешенством нападали друг на друга. Но Водрейль имел время обернуть левую руку довольно старательно салфеткой и ловко воспользовался защищенной рукой, чтобы парировать секущие удары, между тем как Рейнси, пренебрегший этой мерой предосторожности, был ранен при первых выпадах в левую руку. Однако, он продолжал храбро биться, крикнув слуге, чтобы тот подал

---

[27] Примечания: 27
Лучники — патруль.

Примечание переводчика.

ему кинжал. Бевиль остановил слугу, заявив, что так как у Водрейля нет кинжала, то и противник не смеет его брать.



Друзья кавалера протестовали. Произошел обмен резкостями, и дуэль несомненно перешла бы в общую свалку, если бы Водрейль не положил всему конец, повалив противника, опасно раненного в грудь. Он поспешно наступил на выпавшую у Рейнси шпагу, чтобы раненый не успел ее подобрать, и направил свою для смертельного удара. Законы допускали такую жестокость.

— Враг безоружен, — воскликнул Жорж и вырвал у него шпагу.

Кавалер не был ранен смертельно, но терял много крови. Как могли, перевязали ему рану салфеткой, в то время как он, принужденно смеясь, продолжал еще говорить сквозь зубы, что дело не кончено.

Вскоре появился монах с хирургом, оба некоторое время спорили, осматривая раненого.

Хирург одержал верх и, распорядившись перенести своего пациента на берег Сены, повез его в лодке до его жилища.

В то время как слуги уносили окровавленные салфетки и замывали обагренный пол, другие ставили на стол бутылки. Что касается Водрейля, то он заботливо вытер шпагу, вложил ее в ножны, перекрестился и потом с невозмутимым хладнокровием достал из кармана письмо, же-

стом пригласил всех замолчать и при всеобщем хохоте прочел первую строчку: «Дорогой мой, этот наводящий тоску кавалер, который не дает мне проходу…»

— Уйдем отсюда, — сказал Мержи брату с выражением отвращения. Капитан последовал за ним.

Письмо настолько заняло общее внимание, что их ухода и отсутствия не заметили.

Глава четвертая
ОБРАЩЕННЫЙ

***Дон-Жуан**. Как, ты принимаешь за чистую монету то, что я сейчас тебе сказал? И ты веришь, что мой язык был в полном согласии с моим сердцем?*

Мольер, «Каменный гость».

Капитан Жорж вернулся в город с братом и проводил его до дому. По пути они едва перекинулись несколькими словами. Сцена, которой они были свидетелями, оставила тягостное впечатление, невольно заставлявшее их молчать.

Эта ссора и путанная дуэль, которая последовала за ссорой, не носили в себе ничего необычного для того времени. По всей Франции, из конца в конец, обостренная щепетильность дворянства приводила к самым роковым происшествиям, так что, по скромному подсчету, за время царствования Генриха III и Генриха IV дуэльная ярость стоила жизни большему количеству дворян, нежели за десять лет гражданской войны.

Жилище капитана было изысканно обставлено. Шелковые занавески с цветами, пестрые ковры

сразу привлекли внимание Мержи, привыкшего к простой обстановке. Он вошел в кабинет, который брат называл своим *ораторием*[28], очевидно, потому, что слово «будуар» еще к тому времени не было придумано.

Дубовый аналой, украшенный великолепной резьбой, мадонна кисти итальянского артиста, кропильница, украшенная веткой букса, повидимому, говорили о религиозном назначении этой комнаты. Однако, ложе, покрытое черным шелком, венецианское зеркало, женский портрет, разнообразное оружие и музыкальные инструменты указывали на самые мирские привычки владельца этого помещения.

Мержи бросил презрительный взгляд на кропильницу с буксовой веткой — грустное напоминание о братском вероотступничестве. Маленький слуга принес варенье, сласти и белое вино: чай и кофе еще не были в употреблении. И для наших простоватых предков все эти изысканные напитки заменялись вином.

Мержи, со стаканом в руке, переводил взгляды с мадонны на кропильницу, а с кропильницы на аналой. Он глубоко вздыхал и, глядя на брата,

---

[28] Примечания: 28

От латинского слова orare, что значит молиться или возглашать.
Примечание переводчика.

небрежно развалившегося на ложе, произнес:

— Да, ты настоящий папист! Что сказала бы наша мать, будь она здесь?

Эта мысль, повидимому, причинила боль капитану. Он нахмурил густые брови и сделал жест, словно прося не касаться этой темы. Но тот продолжал без всякой жалости:

— Возможно ли, чтобы ты всем сердцем отрекся от веры отцов так же, как отреклись твои уста?

— Вера отцов?.. Она никогда не была моей верой. Что? Чтобы я... стал верить ханжеским проповедям ваших гнусавых попов... чтобы я...

— Ну, конечно, конечно, гораздо больше смысла верить в чистилище, в силу исповеди, в папскую непогрешимость! По-твоему, лучше валяться на коленях перед грязными сандалиями капуцина! Придет время, и ты, пожалуй, не сможешь сесть за стол, не прочтя молитвы барона Водрейля.

— Послушай, Бернар, я ненавижу споры, в особенности такие, которые берут темой религию, но рано или поздно придется объясниться с тобой. И раз мы затеяли этот разговор, давай его кончим. Я хочу говорить с тобой откровенно.

— Так, значит, ты не веришь во все эти вздорные выдумки папистов?

Капитан пожал плечами и, спустив ногу на

ногу, стукнул каблуком и зазвенел широкой шпорой по полу. Он воскликнул:

— Паписты, гугеноты! Суеверия со всех сторон. Я не умею верить в то, что кажется нелепым моему рассудку. Наши литании и ваши псалмы — это все чушь, которая стоит одна другой. Разница только в том, — добавил он, улыбаясь, — что в наших церквах иногда слышишь хорошую музыку, в то время как у вас могут прямо истерзать ухо, привыкшее к красивым звукам.

— Нечего сказать, хорошее преимущество твоей веры, есть из-за чего становиться новообращенным!

— Не называй, пожалуйста, ее моей религией, в мою веру я верю не больше, чем в твою. С тех пор как я думаю самостоятельно, мой разум со мной…

— Но…

— Брось, пожалуйста, проповеди. Я наизусть знаю все, что ты можешь мне сейчас сказать. У меня тоже были свои надежды и страхи. Ты думаешь, я не сделал усилий, чтобы сберечь счастливые суеверия детских лет? Я читал писания всех наших ученых, чтобы в них найти утешение в сомнениях, меня устрашавших; я добился только того, что они разрослись. Одним

словом, я не мог верить и больше не смогу верить. Вера — это драгоценный дар, в котором мне отказано. Но ни за что на свете я не стану лишать других этого дара.

— Мне жаль тебя.

— В добрый час! Ты прав. Как протестант, я не верил проповедям; ставши католиком, я не верю обедням. Да, в самом деле, чорт побери, ужасов наших гражданских войн разве не достаточно, чтобы с корнем вырвать самую крепкую и сильную веру?

— Жестокости — это дело рук человеческих, дело людей, исказивших слово божие.

— Это не твой ответ. Но ты сам признаешь за благо, что я еще не убежден тобой. Не понимаю я нашего бога и не смогу его понять. А если бы я стал верующим человеком, то это случилось бы, как говорит наш друг Жоделль, *с принятием на себя ответственности перед кредиторами не свыше стоимости наследства*...

— Хорошо, но если обе религии тебе безразличны, тогда зачем же это отступничество, принесшее столько горя твоей семье и друзьям?

— Я двадцать раз писал отцу, чтобы объясниться с ним и оправдать себя, но он швырял мои письма в огонь, не распечатывая, и третировал

меня как злодея.

— Мы с матерью не одобряли этой чрезмерной строгости, и если бы не приказания…

— Я не знаю, что обо мне думали, но не все ли теперь равно? Но вот что меня заставило решиться на этот опрометчивый поступок, которого я, конечно, не повторил бы, если бы…

— Ага, я всегда был уверен, что ты раскаешься!

— Мне раскаяться? Не в чем. Я не совершил ничего дурного. Когда еще ты был в школе, занимался латынью и греческим языком, я уже носил панцырь, повязал белый шарф[29] и сражался в первых рядах во время первой нашей гражданской войны. Ваш князек Конде, которому ваша партия обязана несчастливыми промахами, уделял вашему делу лишь время, свободное от любовных похождений. Меня любила одна дама; Конде попросил меня уступить ее ему. Я отказался. И вот он — мой смертельный враг. С тех пор он искал всяческих средств, чтобы меня убить…

…И этот ваш красавец принц
Свою любовницу целует…

И в то же время обращает на меня внимание

---

[29] Примечания: 29
Реформаты сделали белый цвет знаком своей партии.

партийных фанатиков, указывая как на чудовище разврата и безбожия. А между тем у меня была только одна любовница, и я был ей верен. Что касается моего безбожия, то я никого не трогал им; с какой же стати было объявлять мне войну?

— Никогда я не думал, чтобы Конде был способен на такую грязь.

— Он умер. Вы сделали из него героя. Так всегда бывает на свете. У него были кое-какие достоинства. Он умер храбрецом. Я его простил. Но тогда он был всемогущ, и ему казалось преступлением, что бедный дворянин, вроде меня, осмелился противиться ему.

Капитан ходил по комнате, продолжая говорить голосом, который выдавал все большее и большее волнение.

— Все попы, все ханжи нашей партии превратились в свору, спущенную на меня. Я так же мало обращал внимание на их лай, как на их проповеди. Один из придворных принца, желая выслужиться перед ним, назвал меня в присутствии всех наших капитанов развратником. Он получил за это пощечину, и я его убил. В нашей армии каждый день случалась дюжина дуэлей, и генералы делали вид, что их не замечали. Но для меня сделали исключение. Принц решил

сделать меня предметом примерного наказания для всей армии. Благодаря заступничеству всех генералов и, должен признаться, просьбам адмирала я получил помилование. Но ненависть принца не получила утоления. В битве при Жазнейле я командовал отрядом пистольщиков. Я был первым в стычке. В двух местах выстрелы из пищали вдавили мой панцырь… Левая рука была пробита копьем. Все это говорило, что я не щадил себя. Я не имел и двадцати человек около себя. А на нас двигался батальон королевских швейцарских стрелков. Принц Конде приказывает мне броситься на врага… Я прошу у него две роты рейтаров… и… он кричит, что я трус.

Мержи встал и подошел к брату, с сочувственным любопытством глядя на него. Капитан расхаживал, гневно сверкая глазами, и говорил:

— Он назвал меня трусом перед лицом всех этих господ в позолоченных доспехах, которые через несколько месяцев бросили его в районе Жарнака и позволили его убить. Я подумал, что мне надо умереть. Я бросился тогда на швейцарцев, поклявшись, что если я уцелею по счастливой случайности, то никогда не подниму оружия на защиту дела столь бесчестного принца. Тяжело раненный, я был сброшен с лошади. Еще секун-

да, и я был бы убит, но один из свиты герцога Анжуйского, Бевиль, этот безумец, с которым мы обедали, спас мне жизнь и представил меня герцогу. Со мной хорошо обходились. Я был полон жажды мести. Меня обласкали, уговорили поступить на службу к тому, кто оказал мне благодеяние: к герцогу Анжуйскому: читали мне латинские стихи:

> ...*Omne solum forti patria est, ut piscibus aequor.*[30]

Я с негодованием смотрел, как протестанты призывали чужестранцев к себе на родину... Но почему не открыть тебе единственную настоящую причину, приведшую меня к моему решению? Я жаждал мести: я сделался католиком, надеясь встретиться на поле битвы с принцем Конде и там его убить. Но подлецу выпало на долю получить с принца Конде его долг... Обстоятельства, при которых он был убит, почти принудили меня забыть мою ненависть. Я видел его плавающим в луже крови, брошенным на поругание солдатам, я вырвал его тело из их рук и покрыл его своим плащом. Но я был уже

---

[30] Примечания: 30

Сильному человеку земля всюду будет родиной, как рыбе море (*лат.*).
Примечание переводчика.

в соглашении с католиками, я командовал их эскадроном и не мог их оставить. К счастью, как мне кажется, я все-таки смог оказать кое-какие услуги моей прежней партии, насколько я был в силах, смягчая ярость религиозной войны, и счастлив тем, что спас жизнь некоторым из старых друзей.

— Оливье де-Бассвиль всюду говорит, что он тебе обязан жизнью.

— И вот теперь я католик, — продолжал Жорж более спокойным тоном. — Эта религия не хуже других; с их святошами ладить нетрудно. Вот, посмотри, красавица мадонна; но ведь это же портрет итальянской женщины очень легкого нрава. Ханжи восторгаются моей набожностью, потому что я крещусь на этот портрет, выдавая его за богоматерь. И, поверь мне, с ними куда легче сговориться, чем с нашими пасторами. Я живу, как хочу, в пустяках уступая мнению толпы. Что говорить: нужно итти к обедне, я хожу иногда, чтобы полюбоваться на красавиц. Нужно иметь духовника, ну и чорт с ним! Я завел себе бравого монаха, бывшего кавалерийского стрелка, который за один золотой дает мне исповедальный лист с отпущением грехов, а в придачу берется разносить мои любовные пись-

ма своим духовным дщерям. Чорт возьми, да здравствует обедня!

Мержи не мог удержаться от улыбки.

— Вот тебе пример, — продолжал капитан. — Возьми мой молитвенник. — Он швырнул ему роскошно переплетенную книгу в бархатном футляре с серебряными застежками.

— Этот часослов стоит протестантского молитвенника. — Мержи прочел на корешке: «*Придворный часослов*».

— Великолепный переплет, — сказал он, с отвращением возвращая книгу.

Капитан поднял крышку и снова, улыбаясь, подал ему книгу. Тогда Мержи прочел титульный лист: «*Нацужаснейшая жизнь великого Гаргантюа, Пантагрюелева отца, составленная господином Алкофрибасом, извлекателем квинтэссенций*».

— Ну, что можно сказать о такой книге? — воскликнул капитан со смехом. — Я ценю ее гораздо больше, чем все богословские томы Женевской библиотеки.

— Говорят, что автор этой книги был полон богатых знаний, но не сделал из них надлежащего употребления.

Жорж пожал плечами.

— Прочти этот том, Бернар, а потом поговоришь со мной о прочитанном.

Мержи взял книгу. Потом, помолчав немного, сказал:

— Меня сердит то, что чувство досады, безусловно справедливое, увлекло тебя к поступку, в котором ты не можешь не раскаяться со временем.

Капитан опустил голову, глядя на ковер, расстилавшийся у него под ногами, и казался занятым рассматриванием узора.

— Но что сделано, то сделано, — произнес он, наконец, подавленным голосом. — Быть может, настанет время, и я вернусь к протестантизму, — прибавил он веселее. — Бросим этот разговор. И дай мне клятву не касаться больше этих отвратительных тем.

— Надеюсь, что твои собственные размышления сделают больше, чем мои рассуждения и советы.

— Пусть так. Теперь побеседуем о твоих делах. Что ты думаешь делать при дворе?

— Надеюсь, что предстану перед адмиралом с достаточно хорошими рекомендациями, и он окажет мне милость, приняв в свою свиту на время предстоящей нидерландской кампании.

— План плохой! Дворянину, с храбростью в сердце, со шпагой на бедре, совсем ни к чему с легким сердцем становиться слугой. Зачисляйся лучше в королевскую гвардию. Хочешь в мои отряд легкой кавалерии? Ты будешь с походе, как и все мы, под начальством адмирала, но не будешь никому слугой.

— Не имею никакого желания поступать в королевскую гвардию, и — скажу тебе прямо — испытываю к этому некоторое отвращение. Я не возражал бы против того, чтобы сделаться солдатом в твоем отряде, но отец настаивает, чтобы мой первый поход я совершил под командой адмирала.

— Узнаю в тебе гугенота. Вы все проповедуете единство, а внутри больше, чем мы, таите старые счеты.

— Почему?

— Да как же? В ваших глазах король — это деспот. Это библейский Ахав, как зовут его ваши пасторы. Да что мне с тобой говорить об этом? По-вашему, он даже не король, а захватчик, ибо после смерти Людовика XIII[31] по Франции коро-

[31] Примечания: 31

Принца Людовика Конде, убитого при Жарнаке, католики обвиняли в претензиях на корону.

лем является Гаспар I[32].

— Неудачная шутка!

— В конце концов, все равно, будешь ли на службе у старого Гаспара или герцога Гиза, господин де-Шатильон командует армией; и он тебя будет учить военному делу.

— Да, его уважают даже враги.

— Некий пистолетный выстрел попортил его репутацию.

— Он доказал свою невиновность. К тому же вся его жизнь служит опровержением его причастности к гнусному убийству Польтро[33].

— Знаешь латинскую истину: Fecit cui profuit?[34] Не будь этого пистолетного выстрела, — Орлеан был бы взят.

— В конечном счете у католиков в армии стало меньше одним человеком.

— Да, но человек человеку рознь. Неужто ты

---

[32] Примечания: 32

Гаспар — имя адмирала Колиньи.

[33] Примечания: 33

Польтро де-Мере убил Великого Франциска, герцога Гизского, при осаде Орлеана, в те часы когда город был доведен до крайности. Колиньи довольно неудовлетворительно опровергал обвинение в том, что убийство совершено было по его приказу или с его согласия.

[34] Примечания: 34

Сделал тот, кто выиграл (*лат.*).

Примечание переводчика.

не слыхал дрянных стихов, которые стоят ваших псалмов:

Если шайка Гизов уцелела,
То и для Мере найдется дело.

— Детские угрозы, и ничего больше! Если бы я принялся перечислять все преступления Гизов и их приверженцев, то получилась бы длинная ектения. В конце концов, будь я королем, я приказал бы для водворения мира во Франции посадить в хороший кожаный мешок всех Гизов и Шатильона, затянул бы его натуго и даже зашил бы, а потом приказал бы швырнуть его в воду, привязав к нему тысячефунтовый груз, чтобы уж ни один из господ не мог вынырнуть. Да, еще есть немало людей, которых я бы посадил в этот мешок.

— Как хорошо, что ты не французский король!

Разговор стал более веселым, бросили и политику, и богословие, начали рассказывать друг другу о мелких приключениях, происшедших со времени их разлуки. Мержи был достаточно откровенен и угостил брата своей историей, происшедшей в харчевне «Золотого Льва». Брат хохотал от души и много шутил по поводу потери восемнадцати золотых и прекрасного темно-бу-

рого коня.

Послышался колокольный звон в соседнем храме.

— Чорт побери, — воскликнул капитан, — идем сегодня вечером на проповедь; я уверен, что будет очень забавно.

— Благодарю. Но у меня еще нет желания менять вероисповедание.

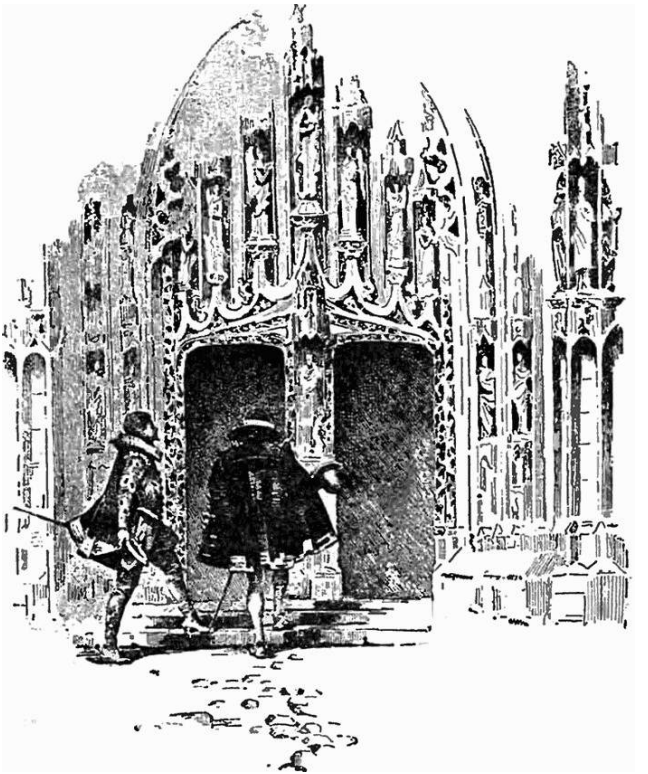
— Пойдем, дорогой мой, пойдем! Сегодня будет говорить брат Любен. Этот монах так потешно говорит о вопросах веры, что народ толпами валит на его проповеди. К тому же сегодня весь двор будет в церкви св. Якова. Стоит посмотреть.

— А графиня Тюржис там тоже будет и снимет свою маску?

— Да, да, вот кстати, конечно, будет. Если ты хочешь записаться в очередь искателей, ты не забудь при выходе с проповеди занять место у церковных дверей и протянуть ей святой воды. Вот тоже очень приятный обряд католической веры. Господи боже мой, сколько миленьких ручек я пожимал, сколько любовных записок передал, протягивая кропильницу святой воды!

— Не знаю почему, но эта святая вода вызывает у меня такое омерзение, что, кажется, ни за какую цену не окунул бы я в нее пальцы.

Капитан прервал его смехом. Братья вскинули плащи и пошли в церковь св. Якова, где уже было в сборе многочисленное светское общество.



Глава пятая
ПРОПОВЕДЬ

Мастер работать глоткой, ловкач по части чтения часослова, за один дух проорать обедню или оттрепать всенощную; ну, одним словом, определяя его в целом, — настоящий монах, самый подлинный из всех когда-либо живших с того дня, как монашливый мир намонашил монашину.

Раблэ.

Когда капитан Жорж и его брат пробирались по церкви, отыскивая удобное место, поближе к проповеднику, их внимание было привлечено громкими взрывами хохота, раздавшегося из ризницы; они вошли туда и увидели толстого, веселого, румянорожего человека, одетого в рясу францисканца и занятого очень оживленным разговором с шестеркой расфранченных молодых людей.



— Ну, дети мои, торопитесь занять места. Ба-

рыни меня ждут: им не терпится, дайте-ка мне подходящую тему для проповеди.

— Расскажите сегодня о том, какими происками женщины водят за нос мужей, — сказал один из молодых людей, в котором Жорж сейчас же узнал Бевиля.

— Богатая тема, милый мальчик, я согласен. Но смогу ли я хоть что-нибудь произнести, равное по силе проповеди оратора из Понтуаза? Что скажешь после его выкрика: «Вот сейчас швырну мой колпак в голову той из вас, которая чаще всех наставляла рога своему мужу». Ведь при этом все женщины в церкви закрыли головы руками или покрывалом, чтобы отразить удар.

— Ах, отец Любен, я только ради вас и пришел на проповедь, скажите нам сегодня что-нибудь веселенькое, поговорите о любовном грехе, который теперь сильно вошел в моду.

— В моду? Это у вас, молодые люди, это у вас, двадцатипятилетних, а мне стукнуло пятьдесят, в мои годы нельзя уже говорить о любви. Я даже и позабыл уже, в чем состоит этот грех.

— Не скромничайте, отец Любен, вы и теперь не хуже, чем бывало, рассуждаете на эту тему, мы вас знаем.

— Да, проповедайте на тему о любовных поро-

ках, — добавил Бевиль. — Все дамы скажут, что вы великий знаток в этом деле.

Францисканец подмигнул в ответ на эту шутку довольно плутовато. В этом подмигивании были и гордость и удовольствие. Ему польстили упреки в пороках, свойственных юности.

— Нет, об этом я проповедывать не буду, а то все придворные красотки перестанут ходить ко мне на исповедь, если я вздумаю оказаться слишком строгим по этой части. А по совести говоря, если бы я коснулся этого, что лишь в тех целях, чтобы показать, как на веки-вечные обрекают себя на муки… и ради чего? Ради сладкой минутки.

— Ну, как же быть? А вот и капитан! Ну-ка, Жорж, дай нам какую-нибудь тему для проповеди. Отец Любен подрядился сказать проповедь на первую названную нами тему.

— Да, — сказал монах, — но торопитесь, провалиться мне на этом месте, я уже должен быть на кафедре.

— Что за чорт! Отец Любен, вы ругаетесь не хуже короля, — воскликнул капитан.

— Бьюсь об заклад, что в проповеди он не осмелится произносить крепкие слова.

— Ну, а почему бы нет, если мне приспичит? — заносчиво заявил монах.

— Ставлю десять пистолей, что не осмелитесь.

— Десять пистолей? Идет, по рукам.

— Бевиль, — предложил капитан, — иду в половину твоего заклада.

— Ни в каком случае, — возразил тот, — я хочу один выиграть деньги с попа, а если он крепко ругнется, чорт меня побери, то я не пожалею десяти пистолей. Руготня с церковной кафедры дороже денег.

— А я вам объявляю, что я уже выиграл, — сказал отец Любен. — Я начну свою проповедь прямо с тройных проклятий. Вы — молодые дворяне — думаете, что если вы носите шпагу на бедре и перо на шляпе, так вы одни умеете ругаться и божиться. Мы сейчас увидим.

С этими словами он вышел из ризницы и мгновенно оказался на кафедре. В церкви воцарилось глубокое молчание. Проповедник обвел глазами толпу, теснившуюся около кафедры, и обвел всех глазами, словно отыскивая того, с кем он бился об заклад, устремил свой взгляд, найдя своего спорщика, прямо на него, нахмурился, подбоченился и яростным голосом закричал:

— Возлюбленные братья! Через силу! *Через убийство! Через пролитие крови…* — удивленный и негодующий шопот прервал проповедника,

или, вернее, заполнил преднамеренную паузу в его речи.

— …господа нашего, — продолжал монах благочестивым топом и говоря в нос, — мы спасены и искуплены от мучений ада.

Общий взрыв хохота снова прервал его речь. Бевиль снял с пояса кошелек и потряс его перед проповедником, — признаваясь в проигрыше.

— Так, братья мои, — продолжал невозмутимо брат Любен, — вы довольны, ведь истинно так? Мы *спасены и искуплены от мучений ада*. Воистину, прекрасные слова! Но что ж, вы думаете сидеть сложа ручки и радоваться? Ведь мы расквитались только с мерзейшим геенским пламенем. А что касается чистилища, то ведь это все равно, что, обжегшись на свечке, лечиться мазью из двенадцати обеден. Нате-ка, ешьте, пейте, ходите к распутницам.

Ах вы, заядлые греховодники, вот о чем вы думаете, вот на что рассчитываете! Ну, так вот! брат Любен говорит вам, что вы подводите счет, не дождавшись хозяина.

Вы что же думаете, господа еретики, гугеноты и гугенотствующие! Вы думаете, что спаситель ради вашего избавления от ада соизволил допустить свое крестное распятие? Ах, болваны,

болваны, ах, как бы не так! Чтобы ради Этакой сволочи он стал бы проливать свою драгоценную кровь, да ведь это, извините за выражение, *метать бисер перед свиньями*, а дело направлено совсем: в другую сторону, ибо наш спаситель метал *свиней* к бисеру, ибо что такое бисер, как не *жемчуг*, находящийся в море, а спаситель наш ввергнул однажды две тысячи *свиней* в море. Et ecce impetu abiit totus grex praeceps in mare.[35] Скатертью дорога вам, господа свиньи! И провалиться всем еретикам на тон же дорожке!

Тут оратор откашлялся и умолк на минуту, чтобы оглядеть публику и насладиться впечатлением, произведенным на слушателей, верных церкви, его красноречием. Потом продолжал:

— Так вот, господа гугеноты, обращайтесь-ка вы поскорее, усердствуйте поспешно, иначе провалитесь вы к дьяволу; вы ни богу свечка, ни чорту кочерга. Итак, покажите пятки вашим пасторам, и да здравствует обедня! А вы, дорогие мои братья-католики, вы уже облизываете пальчики и потираете ручки, мечтая о преддверьи рая, но, по чести говоря, возлюбленные братья, небесный рай много дальше от вашего дворцового пара-

---

[35] Примечания: 35

И вот стремительно все стадо ввергается в море (*лат.*).

Примечание переводчика.

диза, чем от Сен-Лазара до ворот Сен-Дени, даже ежели итти прямиком.

Через силу! Через убийство! Через пролитие крови господа нашего вы спасены и искуплены от мучений ада!.. Правильно! Спасены от первородного греха, и с этим я согласен. Но будьте начеку, чтобы чорт вас снова не сцапал. Истинно говорю вам: «Circuit quoerens quem devoret»[36].

О, возлюбленные братья, сатана — это такой артист-фехтовальщик, что сто очков даст вперед и Гранд-Жану, и Жану-Пти, и англичанину. Истинно говорю вам! Жестоки его атаки на нас, ибо едва только мы детскую рубашонку сменяем на штанишки, я хочу сказать, что лишь только мы вступаем в возраст греха *смертного*, как господин сатана бросает нам вызов на жизненный *Пре-о-Клер*. С нами оружие божественных таинств, а у него целый арсенал — это наши прегрешения. В них его наступательное и оборонительное оружие.

Вот я, как живого, вижу его перед собой, он выходит на лужок для поединка: *Чревоугодие* у него на чреве в виде панцыря; *Леность* служит ему шпорами; на поясе висит *Сладострастие*

---

[36] Примечания: 36

Ходит окрест дозором, ища, кого бы пожрать (*лат.*).

Примечание переводчика.

— опасная шпага; как стальной шлем на голове несет он *Гордыню*; в кармане тащит он *Скаредность*, чтобы при случае воспользоваться ею; что же касается *Ярости* с *Оскорблениями* и прочими ее спутниками, то он держит их во рту. Изо всего этого можете видеть, что он вооружен до зубов.

Господь бог подает знак начать сражение, и тогда сатана и не думает обращаться к вам со словами придворного-дуэлиста: «Сударь мой, изволили ль вы встать в позицию?» Нет, он без предупреждения, устремляясь головой вперед, накидывается на христианина. Христианин, заметив, что он может получить удар сапогом от *Чревоугодия*, отражает его силою *Поста*.

Тут проповедник для большей ясности своей проповеди отстегнул распятие и принялся им фехтовать, нанося удары, делая парады, словно учитель фехтования, показывающий самые трудные удары учебной рапирой.



— Сатана после ретировки делает выпад посредством *Гнева*. Затем, обманув ваше внимание

притворной атакой *Лицемерия*, он наносит вам удар в четвертой позиции *Гордынею*. Христианин сначала прикрывается *Терпением*, а потом наносит удар гордости *Смирением*. Сатана, разозлившись, колет его сначала мечом *Сладострастия*, но, видя, что удар отражен *Умерщвлением плоти*, очертя голову бросается на противника, дает ему подножку *Леностью*, подкалывает кинжалом *Зависти* и в то же время старается напихать ему в сердце *Скаредность*. Вот тут-то и нужно крепко встать на ноги и смотреть в оба. *Трудом* можно спастись от подножки *Лености*, от укола *Зависти* защититься *Любовью к ближнему* (ах, какая трудная штука, братья мои!). Что же касается удара *Скаредности*, то лишь одна *Милость* может отвратить его.

Но, братья мои, есть ли среди вас такие люди, которые, будучи атакованы по всем правилам и на треть и на четверть, и мечом, и рукопашной, могли бы найти отпор, всегда готовый к отбитию *врага*? Нет, многих единоборцев вижу я повергнутыми на землю. А когда побежденный спешно не прибегнет к *Покаянию*, — он погиб. Этим крайним средством следует пользоваться скорее до поражения, чем после. А вы, придворные люди, вы думаете, что слова «грешен, батюшка» не тре-

буют много времени? У вы, братья мои, как часто умирающий бедняга хочет сказать «*грешен*», но голос пресекается, едва он скажет «*гре…*», и крышка! Чорт уже сцапал душу, и ищи ее, как ветра в поле!

Брат Любен продолжал еще некоторое время сыпать своим красноречием, а когда оставил кафедру, то какой-то любитель краснобайства заметил, что в монашеской проповеди, длившейся какой-нибудь час, он встретил тридцать семь искусных острот и бесчисленное множество тонкоумных выпадов, подобных тем, которые приведены нами.

Католики и протестанты одинаково одобрили проповедника, который долго оставался у амвона, окруженный тесной толпой людей, двинувшихся к нему со всех концов церкви с поздравлениями и похвалами.

Во время проповеди Мержи несколько раз спрашивал, где же графиня Тюржис. Брат тщетно искал ее глазами. Графиня-красавица или отсутствовала вовсе или пряталась от поклонников в каком-нибудь темпом углу.

— Хотелось бы мне, — сказал Мержи, выходя, — чтобы все эти люди, стоявшие на бессмысленной проповеди, вот сейчас прослушали бы какие-

нибудь простые убедительные слова наших священников.

— Вот графиня Тюржис! — быстро прошептал капитан, схватывая брата за руку.

Мержи быстро обернулся и увидел, как под темный портал с молниеносной стремительностью вошла роскошно одетая женщина под руку с молодым белокурым спутником, тонким и хрупким, в костюме слегка небрежном, быть может намеренно небрежном, и с лицом изнеженным и вялым. Толпа расступилась перед ними с поспешностью, к которой примешивался ужас. Этот кавалер и был страшный Коменж.

Мержи едва успел окинуть глазами графиню. Он не мог определить впечатление, произведенное ее чертами, он чувствовал только силу этого впечатления, но к Коменжу он почувствовал смертельное отвращение, не умея объяснить это чувство самому себе. Он не мог понять, почему его возмущала громкая слава, сопровождавшая этого человека, с виду такого слабого.

«Случись графине полюбить кого-нибудь в этой толпе, этот ненавистный Коменж наверняка убил бы соперника. Недаром он дал клятву убивать всех, кого она полюбит». Невольно рука потянулась к эфесу шпаги, и тотчас же чувство

стыда остановило его. «В конце концов, какое мне дело, разве я могу завидовать его добыче, которую я сам увидел лишь мельком». Однако, эти мысли оставили в нем тягостный след, и все время, по дороге от церкви до капитанского жилища, Мержи молчал. Придя, они застали стол накрытым к ужину. Мержи мало ел. И как только убрали со стола, захотел вернуться в свою гостиницу. Капитан согласился отпустить его под условием, что он придет на следующий же день и обоснуется у него в доме.

Не нужно добавлять, что Мержи нашел у брата и деньги, и лошадь, и прочие вещи, а кроме того, адреса придворного портного и того единственного торговца, у которого дворянин, заинтересованный в том, чтобы понравиться дамам, покупал перчатки, модные брыжи, *сбитые в пену*, башмаки *с высоким подъемом* или башмаки «*разводной мост*».

Наконец, когда совсем стемнело, он вернулся в свой трактир в сопровождении двух слуг своего брата, вооруженных пистолетами и шпагами, так как парижские улицы тех времен были гораздо страшнее, чем нынешняя дорога из Севильи в Гренаду.

Глава шестая
ВОЖДЬ ПАРТИИ

Джекки из Норфолька, хвастлив ты на язык,
Но знай, что дважды продан
твой содержатель Дик!

Шекспир, «Король Ричард III».

Бернар де-Мержи по возвращении в свой убогий трактир печально окинул глазами его потертую и потускневшую обстановку. Когда он мысленно сравнивал белую штукатурку стен, загрязненных и потемневших от времени, с блестящими штофными обоями апартаментов, в которых он только что был, когда он вспомнил хорошенькую женщину, изображенную в виде мадонны, и когда он на стене перед собою увидел только старую иконку святого, тогда довольно низменная мысль пришла ему в голову.

Эти роскошь, изящество, женская благосклонность, благоволение короля, в конце концов, столько завидных вещей были к услугам брата Жоржа за одно только слово. Это слово произнести легко, а глубину души никто исследовать не

станет. Тотчас же в памяти его прошли имена протестантов, отрекшихся от веры и достигших высоких почестей, так как дьявол всем пользуется как оружием, и тут он вспомнил еще притчу о блудном сыне, но с очень странным выводом: обращенному гугеноту будут больше рады, чем просто верному католику.

Эти мысли, приходившие ему в голову, словно против воли под разными видами осаждали его и в то же время вызывали отвращение. Он взял *Женевскую библию*, собственность его матери, и несколько времени был занят чтением. Потом, более спокойный, он положил книгу и, прежде чем закрыть глаза перед сном, поклялся жить и умереть в вере своих отцов.

Но, несмотря на чтение и эту клятву, в сновидениях он переживал происшествия прошедшего дня. Ему грезились пурпурные завесы из шелка, золотая утварь, потом опрокинутые столы, сверкающие шпаги и струи крови, мешающиеся с вином. Потом оживала мадонна на полотне, она вышла из рамы и стала танцовать перед ним. Он старался запечатлеть в памяти ее черты, вглядывался в них и тут только заметил, что на ней черная маска. Но синие, синие глаза и эти две линии белой кожи сняли сквозь небольшие

прорезы этой маски!.. Шнуры, привязывавшие маску, упали, показалось небесное лицо, но очертания его были неопределенны. Это было подобие отражения его возлюбленной в неспокойной поверхности воды. Невольно он опустил глаза, но быстро их поднял и увидел только страшного Коменжа с окровавленной шпагой в руке.

Он рано встал. Велел отнести свой легкий багаж к брату и, отказавшись итти с ним осматривать достопримечательности города, пошел один в шатильонский особняк, чтобы вручить адмиралу письмо, доверенное ему отцом.

Во дворе владения Шатильона он нашел массу слуг и лошадей, и ему стоило немало труда пробраться к обширной прихожей, где толпились конюхи и пажи, составлявшие внушительную охрану адмирала, несмотря на то, что были вооружены только тяжелыми шпагами. Привратник, одетый в черное, бросил взгляд на кружевной ворот Мержи и золотую цепь, надетую на него братом, беспрепятственно пропустил его на галлерею, где находился его господин.

Вельможи, дворяне, священник евангелической церкви, человек около сорока, в почтительных позах, стоя с непокрытыми головами, окружали адмирала. Одет он был в черное,

чрезвычайно просто. Он был высок ростом, но слегка сутулился. Морщины на лысом лбу были следствием скорее усталости в боях, чем возраста. Длинная седая борода закрывала грудь. От природы ввалившиеся щеки казались более глубоко впалыми от рубца, который едва могли закрыть длинные усы: в бою при Монконтуре выстрел из пистолета пронзил ему щеку и выбил несколько зубов. Его выражение лица было скорее грустным, чем суровым; ходили слухи, что после смерти отважного Дандло[37] никто никогда не видел улыбки на губах адмирала. Он стоял, опершись ладонью на стол, заваленный картами и планами, посреди которых стояла огромная библия in quarto[38]. Разбросанные по картам и документам зубочистки напоминали об адмиральской привычке, дававшей частые поводы к насмешкам. В конце стола сидел секретарь, повидимому, погруженный в писание писем, которые он время от времени давал адмиралу на подпись. При виде этого великого человека, бывшего для своих единоверцев значительнее короля, так

---

[37] Примечания: 37
Брат адмирала Колиньи.

[38] Примечания: 38
Четвертая доля листа.

Примечание переводчика.

как в лице адмирала протестанты чтили героя и святого, Мержи почувствовал прилив такого уважения, что, приближаясь к нему, невольно опустился на одно колено. Адмирал, и удивленный и раздосадованный столь неожиданным и необычным выражением почтительности, дал ему знак подняться и несколько сердито принял письмо, переданное ему восторженным молодым человеком. Он бросил взгляд на гербовую печать.



— Это от моего старого товарища, барона де-Мержи, — произнес он, — а вы так на него похожи, молодой человек, что должны быть ему сыном.

— Сударь, мой отец хотел бы очень, несмотря на старость, приехать лично передать вам свое почтение.

— Господа, — сказал Колиньи, прочтя письмо и оглядываясь на окружающих, — представляю вам сына барона де-Мержи, проехавшего больше двухсот миль, чтобы присоединиться к нашему делу. Кажется, для фландрского похода у нас не будет нехватки в добровольцах. Господа, прошу вас любить и жаловать молодого человека. К его отцу вы все питаете высокое уважение.

И тотчас же человек двадцать обступили Мержи с приветствиями и предложениями услуг.

— А были ли вы уже на войне, мой друг Бернар? — спросил адмирал. — Удалось ли вам понюхать пищальный порох?

Мержи покраснел, отвечая, что ему еще не пришлось испытать счастья в битве за веру.

— Лучше вам поздравить самого себя с тем, что не пришлось ни разу проливать кровь своих сограждан, — ответил ему Колиньи с суровой важностью. — Благодарение богу, кончилась

гражданская воина. Вера получила право вздохнуть, и вы, счастливец больший, чем мы, поднимаете оружие только против врагов вашего короля и вашей родины.

Затем, положив руку на плечо молодому человеку, он сказал:

— Я убежден, что вы оправдаете доблесть крови, текущей в ваших жилах. В согласии с намерением вашего родителя вы будете служить вначале среди моих дворян. А когда мы встретимся с испанцами, захватите их знамя и получите чин корнета в моем полку.

— Клянусь вам, — решительно воскликнул Мержи, — сделаться корнетом после первой стычки, иначе у моего отца не будет сына!

— Хорошо, сынок, ты говоришь словами своего родителя. — Потом он крикнул:

— Вот дядя Самуэль — мои управляющий, если тебе нужны деньги на снаряжение, то обращайся к нему.

Управляющий низко поклонился Мержи, но тот поспешил поблагодарить и отказаться.

— Мой отец и мой брат, — произнес он, — дают мне вполне достаточно на жизнь.

— Твой брат?.. Капитан Жорж Мержи — вероотступник с первой гражданской войны…

Мержи грустно попик головою, губы шевельнулись, но слов не было слышно.

— Он храбрый солдат, — продолжал адмирал, — но к чему храбрость без страха божьего! Молодой человек, у тебя в семье ты можешь найти образец, которому ты будешь подражать, и пример, которому не смеешь следовать.

— Я постараюсь подражать славным подвигам моего брата… а не его изменчивости.

— Ну, вот, Бернар, приходи ко мне почаще, считай меня другом; правда, не очень здесь хорошее место для науки добрых нравов, но я надеюсь скоро всех вас увести отсюда и поведу туда, где можете завоевать славу.

Мержи почтительно наклонил голову и отступил к толпе, окружавшей адмирала.

— Господа, — заговорил Колиньи, продолжая разговор, прерванный появлением Мержи. — Со всех сторон имею я добрые вести. Руанские убийцы наказаны…

— Но тулузские еще не понесли кары, — сказал старый священник с липом мрачным и изуверским.

— Ошибаетесь, сударь, я только что получил оттуда весть. К тому же в Тулузе уже приступила к

действию паритетная палата[39]. Дня не проходит, чтобы его величество не дал нам доказательства равного правосудия для всех вер.

Старый священник недоверчиво покачал головой. Седобородый старик, одетый в черный бархат, воскликнул:

— Его правосудие равно для всех, да! Шатильонов, Монморанси и Гизов, всех вместе хотели бы обезглавить одним ударом Карл — король — и его достойная матушка!

— Говори с большим уважением о короле, метр Бониссан, — строго сказал Колиньи. — Давайте забудем, забудем, наконец, старые счеты, старую месть. Пусть не говорят, что католики лучше нас исполняют божьи предначертания о забвении обид.

— Клянусь костями моего отца, им это легче сделать, чем нам! — пробормотал Бониссан. — Двадцать три мученика только в нашей семье — это не скоро успокоит мою память.

Он еще продолжал говорить с горечью, как вдруг дряхлый старик, с отталкивающей наруж-

---

[39] Примечания: 39

По договору, которым кончилась третья гражданская война, во многих судебных парламентах были учреждены судебные палаты, в которых половина советников исповедовала религию Кальвина. Их ведению подлежали дела, возникающие между католиками и протестантами.

ностью, закутанный в серый изношенный плащ, вошел на галлерею, растолкал толпу и передал запечатанный пакет Колиньи.

— Кто вы такой? — спросил тот, не ломая печати.

— Один из ваших друзей, — ответил старик сиплым голосом и тотчас же вышел.

— Я видел, как нынче утром этот старик выходил из владений Гизов, — сказал молодой дворянин.

— Это магик, — крикнул другой.

— Отравитель, — крикнул третий.

— Герцог Гиз послал его отравить господина адмирала.

— Отравить меня? — спросил адмирал, в сомнении пожимая плечами. — Отравить меня письмом?

— Вспомните о перчатках Наваррской королевы![40] — воскликнул Бониссан.

— В отравленные перчатки я так же не верю, как и в отравленное письмо, но я твердо верю, что герцог Гиз не может совершить подлого по-

---

[40] Примечания: 40

«Причиной ее смерти, — пишет д'Обинье («Всеобщая история», т. I, гл. 2), — был яд, отравивший ей мозг посредством надушенных перчаток: способ некоего Рене-флорентинца, ставшего после сего ненавистным даже для врагов этой принцессы».

ступка.

Он собрался сломать печать, как вдруг Бониссан бросился к нему и вырвал письмо из рук со словами:

— Не распечатывайте его, чтобы не вдохнуть смертельный яд.

Все присутствующие столпились вокруг адмирала, который старался освободиться от Бониссана.

— Я вижу, что из письма выходит черный дым, — закричал кто-то.

— Бросьте его, бросьте его! — раздался общий крик.

— Оставьте меня, безумцы, — говорил адмирал, отбиваясь. В минуту этой своеобразной борьбы бумага выпала на пол.

— Самуэль, друг мой, — воскликнул Бониссан, — покажи себя верным слугой, вскрой пакет и передай своему господину только после того, как сам убедишься, что в нем нет ничего подозрительного и страшного.

Поручение не пришлось по вкусу управляющему. Мержи без колебании поднял письмо и вскрыл печать, и тотчас же вокруг него образовалась пустота: все отодвинулись, словно взрывчатый снаряд должен был разорваться. Тем

временем из пакета не вышло никакого зловредного дыма, никто даже не чихнул. В конверте, которого все испугались, был только довольно грязный лист бумаги, на котором виднелись несколько строк, вот и все.

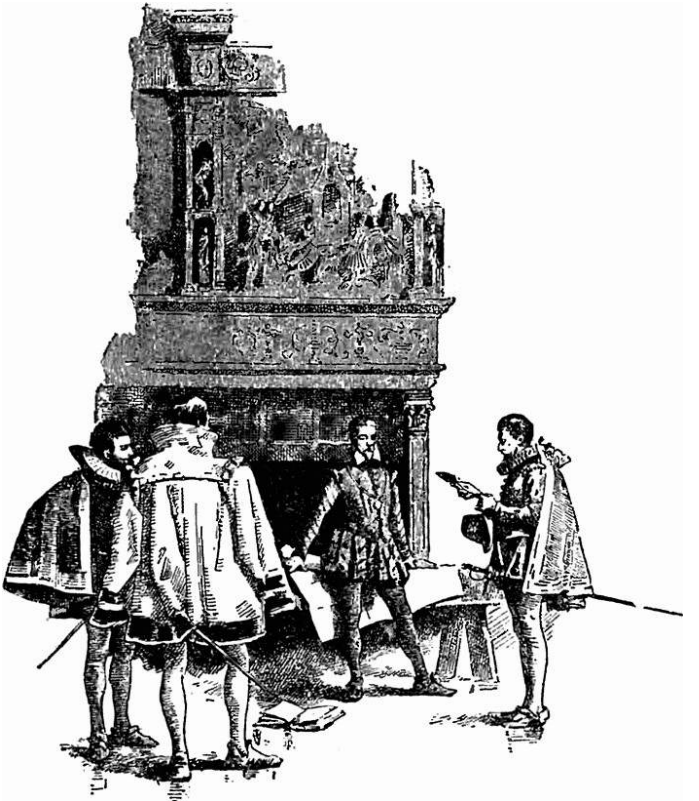
Те же самые люди, которые только что отшатнулись, первые подошли со смехом, как только исчез всякий намек на опасность.

— Что значит эта дерзость? — воскликнул Колиньи гневно, освобождаясь при этом из рук Бониссана. — Распечатывать письмо, адресованное мне!

— Господин адмирал, если бы, к несчастью, в этом пакете был тончайший яд, способный остановить ваше дыхание, то лучше было бы стать жертвою смерти молодцу вроде меня, чем вам, жизнь которого неисчислимо драгоценна для дела веры.

Восхищенный шопот раздался вокруг. Колиньи сердечно пожал руку и, минуту промолчав, ласково обратился к молодому человеку:

— Уж если ты сделал так, что письмо распечатано, то прочти сам, что в нем написано.



Мержи немедленно прочел следующее:

> «Небо на западе залито кровавым светом, звезды исчезли с небосвода, и пламенные мечи появились в воздухе. Надо ослепнуть, чтобы не понять сих пророческих знамений. Гаспар, препояшься мечом, пристегни шпоры, иначе по прошествии немногих дней ***враны*** будут пировать на твоем трупе».

— Враны! Несомненно, вороном он называет Гиза. Обратите внимание на первую букву.[41]

Адмирал пренебрежительно пожал плечами. Кругом все стояли молча, но без слов понятно было, что это пророчество возымело действие.

— Однако, сколько в Париже людей, занятых только глупостями, — холодно сказал Колиньи. — Разве не говорил кто-то, что в Париже около десяти тысяч бездельников, живущих только тем, что предсказывают будущее!

— Не следует пренебрегать этим советом, —

---

[41] Примечания: 41

Игра слов, не передаваемая в переводе. Слово geais по-французски служит названием птицы из породы воронов-хищников; это трупная сойка или пестрый ворон. Фамилия Гизов (Guise) начинается с той же буквы.

Примечание переводчика.

сказал капитан пехоты. — Герцог Гиз довольно открыто заявил, что он не будет спать спокойно, пока не вонзит вам шпаги в живот.

— Убийце очень легко к вам проникнуть и нанести удар, — добавил Бониссан. — На вашем месте я не иначе отправлялся бы в Лувр, как в панцыре.

— Полно, товарищи, — ответил адмирал, — не к нам, старикам-солдатам, направятся убийцы. Они нас больше боятся, чем мы их.

После этого несколько времени он разговаривал о фландрской кампании и положении вероисповедных дел. Многие вручали ему просьбы для передачи королю. Он принимал их милостиво и для каждого посетителя находил ласковое слово. Часы пробили десять. Он приказал подать свою шляпу и перчатки, чтобы отправиться в Луврский дворец. Иные простились с ним, но большинство последовало за адмиралом, чтобы служить ему свитой и охраной в одно и то же время.

Глава седьмая
ВОЖДЬ ПАРТИИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Завидев возвращающегося брата, капитан крикнул ему издали:

— Ну, что же, видел ты Гаспара первого, как он тебя принял?

— Так милостиво, что я не забуду этого никогда.

— Очень рад этому.

— Ах, Жорж, какой это человек!

— Какой это человек? Приблизительно такой же, как и всякий другой. Чуть больше терпения, чуть больше честолюбия, чем у моего слуги, если отбросить разницу сословий. А то, что он родился от Шатильона, дало ему не мало.

— По ведь не происхождение обучило его воинскому делу и превратило его в первого военного вождя нашего времени?

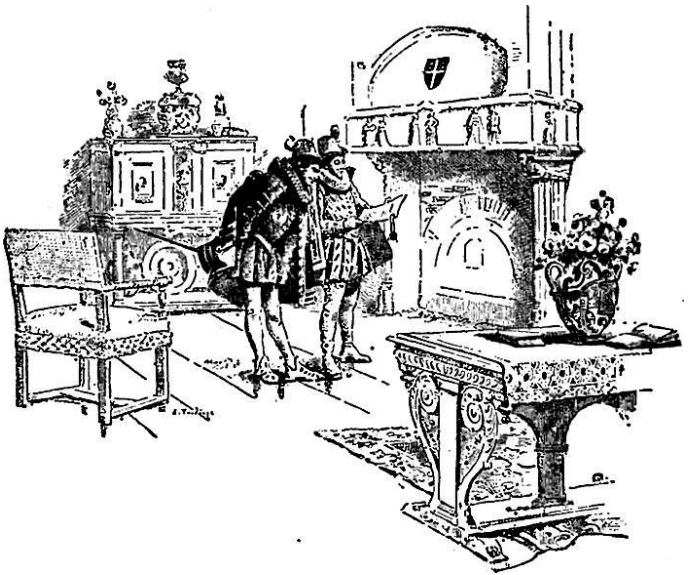
— Конечно, нет, но заслуги его не помешали ему постоянно быть битым. Довольно, будет говорить о нем. Сегодня ты повидал адмирала, ну и прекрасно. Всякому князю свой почет. И твои

посещения так и нужно было начать с дома Шатильонов. А теперь… не угодно ли тебе поехать завтра на охоту? Там я представлю тебя кое-кому, кто тоже весьма заслуживает того, чтобы ты на него посмотрел: я говорю про Карла, короля Франции.

— Я буду участником королевской охоты?

— Ясно. Ты увидишь красивейших дам и красивейших лошадей королевского двора. Сборный пункт в Мадридском дворце. Надо быть там завтра на заре. Ты возьмешь мою лошадь, серую в яблоках. Ручаюсь, что пришпоривать не придется, она не отстанет от собак.

Слуга передал Мержи письмо, принесенное королевским пажем. Мержи открыл его и прочел с удивлением, разделенным его братом: в пакете был приказ о производстве Мержи в корнеты. Королевская печать свисала с грамоты, составленной по всей форме.



— Что за чорт! — воскликнул Жорж. — Вот внезапное счастье! Объясни мне ради всех чертей, как это Карл IX, не знающий о том, что ты существуешь на свете, шлет тебе приказ о производстве тебя в корнеты?

— Я думаю, что обязан этим господину адмиралу, — сказал Мержи. И после этого рассказал брату всю историю с таинственным пакетом, который он распечатал так смело. Капитан хохотал до упаду, слушая конец приключения, и начал безжалостно издеваться над братом по этому поводу.

Глава восьмая
ДИАЛОГ МЕЖДУ ЧИТАТЕЛЕМ И АВТОРОМ

— Ах, господин автор, вот прекрасный случай для вас набросать ряд портретов! И каких портретов! Вот вы поведете нас в Мадридский дворец, в самый центр придворной жизни. И какой придворной жизни! Вы покажете нам этот смешанный двор, одновременно французский и итальянский! Познакомьте нас поочередно со всеми выдающимися особами этого двора. Сколько вещей мы сейчас узнаем, и как интересен будет день, проведенный среди всех этих великих особ!

— Увы! господин читатель, чего вы у меня просите? Я и сам хотел бы обладать достаточным талантом, чтобы написать историю Франции. Я не стал бы тогда рассказывать сказки. Но, скажите пожалуйста, почему вы хотите, чтобы я знакомил вас с людьми, которым не предстоит играть никакой роли в моем романе?

— Но, в таком случае, вы делаете величайшую ошибку, не давая им никакой роли. Как? Вы пе-

реносите меня в 1572 год и думаете увильнуть от характеристики столь замечательных людей! Полноте, тут не может быть колебаний. Начинайте! Даю вам первую фразу: «*Дверь салона открылась. На пороге показался…*»

— Но, господин читатель, в Мадридском замке не было никакого салона. Салоны…

— Ну хорошо, в таком случае: «*Большая зала была наполнена толпою… и т. д…., среди которой выделялись…* и т. д.»

— Кто хотите вы, чтобы там выделялся?

— Ну, чорт возьми, *во-первых*, Карл IX…

— А, *во-вторых*?

— Постойте-ка. Вы сначала опишите его костюм, потом обрисуйте его физический облик и, наконец, дайте его нравственную характеристику. Это же широкая дорога для всякого, пишущего роман.

— Его костюм? Он одет охотником с большим рогом вокруг шеи.

— Вы слишком кратки.

— Что касается его физического облика. Погодите… ей-богу, вы прекрасно сделали бы, если бы пошли посмотреть его бюст в Ангулемском музее. Он стоит там во второй зале, под № 98.

— Но, господин автор, я живу в провинции,

что же вы хотите, чтобы я специально приехал в Париж любоваться на бюст Карла IX?

— Ну хорошо, представьте себе молодого человека, недурно сложенного, с головой несколько ушедшей в плечи. Он вытягивает шею и неуклюже выставляет лоб вперед, его нос немного толстоват, губы тонкие, рот широкий, верхняя губа очень выдается вперед. Цвет лица у него землистый, и большие глаза зеленого цвета никогда не глядят прямо на человека, с которым он ведет беседу. В конечном счете нельзя прочесть в его глазах: «*Варфоломеевская ночь*», или еще что-либо в этом роде. Совсем нельзя. Выражение глаз у него скорее тупое и беспокойное, нежели жестокое и свирепое. Вы представите себе его довольно верно, вообразив какого-либо молодого английского джентльмена, входящего в одиночку в обширную гостиную, где все уже сидят. Он проходит, минуя живую изгородь из разряженных дам, замолкающих при его появлении. Зацепившись за платье одной из них, опрокинув стул под другой, он с большим трудом добирается до хозяйки дома и только тогда замечает, что, выходя из кареты у дверей особняка, он покрыл грязью от колес рукав своего фрака. Вам наверняка встречалось видеть такие перепуганные

физиономии, может быть, вы даже сами посматривали на себя в зеркало, покуда не приобрели светский облик, давший вам полную уверенность в умении войти…

— А Екатерина Медичи?

— Екатерина Медичи? Чорт возьми, вот об этом я не подумал. Я уверен, что я в последний раз вывожу пером это имя: эта толстая женщина, еще свежая и, как говорят, для своего возраста достаточно сохранившаяся, с большим носом, поджатыми губами, словно у человека, испытавшего, как подкатываются первые приступы морской болезни. У нее полузакрытые глаза, каждую минуту она зевает. У нее монотонный голос, и она произносит совершенно одинаковой интонацией фразы: «*Ах, кто меня избавит от этой ненавистной Беарнской*»[42] и «*Магдалина, налей сладкого молока моей неаполитанской собачке*».

— Очень хорошо, но вложите ей в уста несколько слов, хоть немного более примечательных. Ведь она только что отравила Жанну д'Альберэ, но крайней мере об этом шумели, это должно

---

[42] Примечания: 42

Маргарита Наваррская — жена Генриха IV, прозванного Беарнским медведем.

Примечание переводчика.

(Ошибка комментатора: речь о Жанне д'Альбрэ, королеве Наварры, матери Генриха IV (*Прим. книгодела*).

было наложить на нее печать.

— Совсем нет, ибо если бы это было заметно, то куда годилось бы ее замечательное притворство. Впрочем, уж если на то пошло, то, по моим сведениям, она в тот день говорила только о погоде.

— А Генрих IV, а Маргарита Наваррская? Покажите нам Генриха — храбреца, изящного волокиту, всегда добродушного. Маргарита тайком передает любовную записку пажу, в то время как Генрих, в свою очередь, пожимает ручку одной из придворных дам Екатерины.

— Относительно Генриха IV никто не подумал бы в то время, что этот огромный, взбалмошный малый будет королем Франции. Он уже забыл свою мать, скоропостижно скончавшуюся за две недели перед тем. Разговаривал он только с егерем, вступив в бесконечные рассуждения об оленьем помете, так как собирались поднять оленя. Я пощажу вас, избавив от подробностей, так как надеюсь, что вы не охотник.

— А Маргарита?

— Ей нездоровится, она не выходит из комнаты.

— Недурной способ отбояриться от ответа. А герцог Анжуйский, а принц Конде, а герцог Гиз, а Таванн, а Ретц, а Ларошфуко, а Телиньи, а Торе, а

Мерю и сколько еще других?

— Ну, клянусь вам, вы всех знаете их в тысячу раз лучше, чем я. Позвольте мне поговорить о моем приятеле Мержи.

— Ах, вот как! Я чувствую, что не найду в романе того, чего искал.

— Боюсь, что так.

Глава девятая
ПЕРЧАТКА

Синьора Бланка правую перчатку
(Добро бы с левой) тихо обронила...
И рыцарей двоих из-за такой ошибки
Внезапная вражда разъединила.

Лопе-де-Вега, «Перчатка доньи Бланки».

Весь двор собрался в Мадридском замке. Королева-мать, окруженная своими дамами, ожидала у себя в комнате, что король, перед тем как сесть в седло, придет к ней позавтракать. Между тем король в сопровождении принцев медленно проходил по галлерее, где собрались все мужчины, участники королевской охоты. Он рассеянно слушал фразу, с которой придворные к нему обращались, и часто отвечал им довольно резко. Когда он поровнялся с двумя братьями, капитан преклонил колено и представил королю нового

корнета. Мержи глубоко поклонился и поблагодарил его величество за честь, которой он удостоился раньше, чем ее заслужил.

— Ах, так это о вас говорил мне отец-адмирал? Вы — брат капитана Жоржа?

— Да, государь.

— Вы гугенот или католик?

— Ваше величество, я протестант.

— Я спрашиваю просто из любопытства; чорт меня побери, если я хоть сколько-нибудь забочусь о вероисповедании тех, кто мне хорошо служит.

После этих достопамятных слов король прошел к королеве. Несколько мгновении спустя рой женщин высыпал на галлерею, словно посланный для того, чтобы придать терпение кавалерам.

Я буду рассказывать только об одной красавице этого двора, столь богатого красотой. Я буду говорить о графине Тюржис. Она была одета амазонкой, ее костюм, ловкий и в то же время изящный, к ней очень шел. Она еще не надела маски. Поразительно белый и притом неизменно бледный цвет ее лица оттеняли волосы, черные, как смоль. Правильные дуги бровей, легко соприкасаясь концами, придавали ее лицу выражение твердости или скорее гордыни, нисколько не нарушая общей прелести черт. В больших си-

них глазах прежде всего заметно было холодное пренебрежение. Но при оживленном разговоре зрачки заметно расширялись, как у кошки, глаза загорались огнем, и даже испытанному щеголю было трудно не поддаться их магическому воздействию.

— Графиня Тюржис! До чего она сегодня хороша, — шептали придворные, и каждый стремился протолкаться вперед, чтобы лучше ее видеть. Мержи, стоявший у нее на дороге, был так поражен ее красотой, что остолбенел, не подумав посторониться, чтобы уступить ей дорогу, пока широкие шелковые рукава графини не коснулись его камзола.

Она заметила его волнение, быть может, не без удовольствия и соизволила на миг остановить свои прекрасные глаза на взгляде Мержи, который потупился тотчас же, между тем как густой румянец покрыл его щеки. Графиня улыбнулась и, проходя, уронила перчатку перед нашим героем, который, остолбенев, как потерянный, даже и не подумал поднять ее. И сейчас же белокурый молодой человек (то был, конечно, Коменж), стоявший позади Мержи, грубо толкнул его, чтобы пройти вперед, схватил перчатку и, почтительно поцеловав ее, отдал госпоже Тюржис. Она, не

поблагодарив, оглянулась на Мержи и некоторое время смотрела на него с уничтожающим презрением. Потом, заметив около него капитана Жоржа, она громко спросила:

— Скажите, капитан, откуда взялся этот простофиля? Если судить по его манерам, то, вероятно, он гугенот.



Предмет этих насмешек был окончательно расстроен взрывом всеобщего смеха.

— Это мой брат, сударыня, — негромко произнес Жорж, — и клянусь вам честью, что он, будучи всего лишь три дня в Париже, не больший чурбан, чем Ланнуа, бывший таким до вашей обработки этого человека.

Графиня слегка покраснела.

— Капитан, это злая шутка! Не надо плохо говорить о покойниках. Дайте мне руку. Мне надо поговорить с вами по поручению дамы, которая не вполне вами довольна.

Капитан почтительно подал ей руку и отвел ее в нишу дальнего окна. Проходя, графиня еще раз оглянулась на Мержи.

Все еще ослепленный явлением прекрасной графини, сгорая желанием глядеть на нее и не смея поднять глаз, Мержи вдруг почувствовал, что кто-то тихонько ударил его по плечу. Он обернулся и увидел барона Водрейля, который, взяв его под руку, отвел в сторону, чтобы, по его словам, поговорить без помехи.

— Милый друг, — сказал барон, — вы новичок в этой столице и, быть может, не знаете, как надо вести себя здесь.

Мержи с удивлением взглянул на него.

— Ваш брат занят и не может дать вам совет; если позволите, я вам заменю брата.

— Я не знаю, милостивый сударь, что побудило вас…

— Вас жестоко оскорбили и, видя, что вы задумались, я не сомневался, что вы обдумываете способы отомстить за себя.

— Отомстить, но кому? — спросил Мержи, покраснев до корня волос.

— Разве этот маленький Коменж не толкнул вас только что? Весь двор видел, что произошло, и все ждут, что вы примете это близко к сердцу.

— Однако, — возразил Мержи, — в зале, где такая толпа народу, ничего нет удивительного, что кто-нибудь меня нечаянно толкнул.

— Господин де-Мержи, я не имею чести близко вас знать, но ваш брат — мой большой друг, и он может подтвердить вам, что я, насколько это возможно, осуществляю божественный закон прощения обид. Мне в голову не приходит втягивать вас в серьезную ссору, но в то же время я считаю себя обязанным обратить ваше внимание на то, что Коменж толкнул вас вовсе не *нечаянно*. Он толкнул оскорбления ради и даже, если бы не толкнул, то все-таки вы оскорблены тем, что, поднимая перчатку Тюржис, он вырвал право,

предоставленное вам. Перчатка упала к вашим ногам, ergo только *вам* принадлежало право поднять ее и вернуть владелице… Да вот обернитесь и увидите, что на другом конце галлереи стоит Коменж, тычет пальцем в вашу сторону и издевается над вами.

Мержи оглянулся. Он увидел Коменжа, окруженного пятью-шестью молодыми людьми, которым он со смехом что-то рассказывал, а те слушали, проявляя большое любопытство. Не было никаких признаков того, что речь шла именно о нем, и тем не менее, под влиянием слов благожелательного советчика, Мержи почувствовал бешеный гнев, закипевший в сердце.

— Я найду способ встретиться с ним после охоты, — сказал он, — и я знаю, что…

— О, никогда нельзя откладывать таких хороших решений. К тому же, вызывая вашего противника немедленно после нанесения оскорбления, вы гораздо меньше грешите перед богом, чем делая это через промежуток времени, достаточный для размышления. Вы бросаете вызов в минуту запальчивости, а это не является смертным грехом. Если потом вы деретесь на самом деле, так лишь для того, чтобы избегнуть еще более тяжкого прегрешения — нарушения

собственной клятвы. Простите, я забываю, что говорю с протестантом. Но как бы там ни было, условьтесь с ним сейчас же о месте встречи. Я сию минуту сведу вас для извинения.

— Надеюсь, он не откажется принести мне извинение?

— В этом вы глубоко заблуждаетесь, добрый товарищ. Не было случая, чтобы Коменж сказал: *я был не прав*. В конце концов, он вполне светский человек и не откажет вам в удовлетворении.

Мержи сделал усилие, чтобы успокоить свое волнение и принять равнодушный вид.

— Раз я оскорблен, так я должен получить удовлетворение. В том или ином виде я сумею его добиться.

— Чудесно, смельчак, люблю вашу отвагу, тем более что вам известно, что шпага Коменжа — лучшая шпага Парижа. Чорт возьми! это дворянин, у которого рука срослась с оружием. В Риме он брал уроки у Брамбиллы, и Пти-Жан уже не хочет состязаться с ним.

Говоря так, он внимательно вглядывался в несколько бледное лицо Мержи, который все-таки волновался больше от оскорбления, чем от его последствии.

— Я охотно предложил бы вам свои услуги в

качестве секунданта в вашей дуэли, но, во-первых, я завтра приобщаюсь, а, во-вторых, я уже занят господином де-Рейнси и потому не могу обнажать шпагу ни перед кем другим.[43]

— Благодарю вас, сударь, если дело обернется этой стороной, то секундантом будет мой брат.

— О, капитан — великий знаток этих дел. Пока что я приведу вам Коменжа, чтобы вы с ним объяснились.

Мержи поклонился и, отвернувшись к стопке, стал обдумывать фразу для вызова, стараясь придать лицу подходящее выражение.

Вызов надо делать с некоторой грацией, которая, как многое другое, является результатом привычки. Наш герой впервые попал в такое положение, а потому он чувствовал себя в состоянии некоторого замешательства. В эту минуту он не думал об ударах шпаги, но лишь о каких-нибудь словах, которые случайно окажутся недостойными дворянина. Он только что успел составить в голове фразу, одновременно и жесткую, и вежливую, как барон Водрейль тронул его за руку, и фраза испарилась из головы.

Коменж со шляпой в руке отвешивал ему на-

---

[43] Примечания: 43

Таковы были правила утонченных дуэлистов — не вступать в новую ссору, пока предшествующая еще не завершилась.

хально-вежливый поклон и говорил сладким голосом:

— Вы, кажется, желали беседовать со мною, сударь?

От гнева кровь ударила Мержи в голову, он быстро ответил тоном твердым, даже более твердым, чем он рассчитывал.

— Вы нагло вели себя со мною, и я требую удовлетворения.

Водрейль кивнул головой одобрительно. Коменж выпрямился, подбоченился — поза, которой выражалась в тогдашние времена строгость, — и сказал с величайшей важностью:

— Милостивый государь, вы — *нападающая сторона*, следовательно, мне, как *защищающемуся*, правила предоставляют выбор оружия.

— Назовите, какое вам подходит.

Коменж принял вид размышляющего человека.

— Тяжелая шпага[44], — сказал он, — не плохое оружие, но раны, нанесенные ею, могут изуродовать лицо. В нашем возрасте, — добавил он с улыбкой, — не так приятно показывать своей любовнице шрам на самой середине лица. Рапира

---

[44] Примечания: 44
Длинная и обоюдоострая шпага, похожая на узкий меч.

делает маленькое отверстие, но его вполне достаточно. (Он улыбнулся снова.) Итак, я выбираю рапиру и кинжал.

— Отлично, — ответил Мержи и хотел удалиться.

— Постойте, — закричал Водрейль, — вы позабыли условиться о времени и месте.

— Обычно придворные встречаются для этих целей на Пре-о-Клер, — сказал Коменж, — и если у сударя нет на примете какого-нибудь другого места, которое он предпочитает…

— Хорошо, пусть будет Пре-о-Клер.

— Что касается часа… Я не встану по причинам, мне известным, раньше восьми часов… Вы меня поняли? Я сегодня ночую дома и потому не смогу быть на Пре-о-Клер приблизительно раньше девяти часов.

— Значит, в девять часов.

Посмотрев в сторону, Мержи увидел близко от себя графиню Тюржис, которая только что отошла от капитана, занятого разговором с другой дамой. Вы чувствуете, что при виде прекрасной виновницы этого злого дела наш герой постарался придать своему лицу выражение одновременно и серьезное, и полное напускной беспечности.

— С некоторых пор, — сказал Водрейль, — в

моду вошло сражаться в красных штанах. Если у вас нет готовых, я пришлю вам нынче вечером. На них незаметна кровь, так будет опрятнее.

— Я считаю это мальчишеством, — заметил Коменж.

Мержи неловко наклонил голову.

— Итак, друзья мои, — произнес тогда барон Водрейль, попавший, повидимому, в родную стихию, — теперь дело только за тем, чтобы условиться о секундантах и их помощниках[45] для нашей дуэли.

— Сударь, кажется, новичок при дворе, — произнес Коменж, — и ему, может быть, трудно будет сразу найти двух секундантов, поэтому, снисходя к нему, я заявляю, что довольствуюсь одним.

Мержи не без усилия сложил губы наподобие улыбки.

— Невозможно быть более обходительным, — сказал барон. — Ну, право же, одно удовольствие иметь дело с таким предупредительным человеком, как господин Коменж.

— Вам понадобится рапира такой же длины, как моя, — продолжал Коменж, — поэтому я ре-

---

[45] Примечания: 45

Зачастую секунданты не довольствовались ролью простых зрителей и сражались между собой. Существовала формула: «удвоить», «утроить» кого-нибудь.

комендую вам Лорана, под вывеской «Золотое солнце», на улице Феронри. Это лучший оружейник в столице; скажите ему, что вы приходите от моего имени, и он всем пойдет вам навстречу.

С этими словами он повернулся на каблуках и совершенно спокойно подошел к компании молодежи, которую только что покинул.

— Должен вас поздравить, господин Бернар, — сказал Водрейль, — вы прекрасно справились с вызовом. Уверяю вас, превосходно! Коменж не привык, чтобы с ним так разговаривали. Его боятся, как огня, с той поры, как он уложил верзилу Канильяка; потому что, убив два месяца назад Сен-Мишеля, он и этим не стяжал себе новой славы: Сен-Мишель не искусный противник, между тем как Канильяк ухлопал пять-шесть человек, не получив ни одной царапины. Он изучал фехтовальное искусство у Борели в Неаполе и говорит, что, умирая, Ланзак открыл ему секрет удара, натворившего столько бед. Сказать правду, — продолжал он, как бы про себя, — Канильяк обокрал церковь в Оксерре и швырнул на землю святые дары; ничего нет удивительного, что его постигла кара.

Хотя подробности эти нимало не занимали Мержи, он считал своим долгом продолжать

разговор, боясь, как бы в голову Водрейлю не закралось подозрение, оскорбительное для его храбрости.

— К счастью, — сказал он, — я не обворовал никакой церкви и в жизни ни разу не прикасался ни к каким святым дарам. По-моему, я в меньшей опасности.

— Надо, чтобы я сделал вам предупреждение. Когда вы скрестите оружие со шпагой Коменжа, берегитесь одной хитрости с его стороны; его уловка стоила жизни Томазо. Коменж крикнул, что у него сломалось острие шпаги, Томазо немедленно вскинул шпагу над головой, ожидая рубленого удара, но шпага у Коменжа была целехонька, и так как Томазо не ожидал колотого удара, то она вонзилась по самую рукоятку в его незащищенную грудь… Но у вас будут рапиры: с ними опасности меньше.

— Сделаю, что могу.

— Вот что еще. Выбирайте кинжал с крепкой чашкой: это прекрасно для парирования. Видите этот шрам на левой руке? Я получил его только потому, что однажды вышел на поединок без кинжала. У меня была ссора с молодым Таллароном, и благодаря отсутствию кинжала я был уверен, что лишусь левой руки.

— А что же, он был ранен? — спросил Мержи с рассеянным видом.

— Я убил его в силу обета св. Маврикию, моему покровителю. Захватите с собою полотна и корпии. Это не повредит. Не всегда человека убивают наповал. Хорошо сделаете, если положите шпагу на алтарь во время обедни… Ах да, ведь вы протестант! Еще одно слово. Не считайте, что перемена места унижает противника. Наоборот, заставьте его хорошо побегать; у него одышка, заморите его и, улучив подходящую минутку, делайте выпад в грудь, и вот ваш противник валится с ног.

Он долго продолжал бы свои прекрасные советы, если бы громкое пение охотничьих рогов не подало знак, что король вскочил в седло. Двери апартаментов королевы открылись, и их величества в охотничьих костюмах направились к крыльцу.

Капитан Жорж, только что покинувший свою даму, вернулся к брату и, хлопнув его по плечу, сказал с веселым видом:

— Клянусь обедней, ты счастливый бездельник! Взгляните на этого маменькиного сынка с усиками котенка. Стоило ему появиться — и все женщины сходят с ума. Ты знаешь, что прекрасная графиня говорила со мной о тебе добрые

четверть часа. Ну, храбрись! Во время охоты скачи рядом с нею и ухаживай вовсю. Но что с тобою делается? У тебя вытянулось лицо, как у гугенотского попа, приговоренного к сожжению. Ну тебя к чорту, будь ты веселее!

— Я не чувствую большой охоты ехать сейчас… Я хотел бы…

— Если вы не примете участие в охоте, — сказал тихонько барон Водрейль, — то Коменж подумает, что вы струсили.

— Хорошо, — сказал Мержи, проводя рукою по горячему лбу.

Он решил, что будет лучше по окончании охоты рассказать брату о происшедшем. «Какой стыд, — подумал он, — если Тюржис поверит, что я боюсь, если она подумает, что мысль о предстоящей дуэли помешала мне принять участие в наслаждениях охоты».

Глава десятая
ОХОТА

Самый что ни на есть подлинный протыкатель шелковых пуговиц, из дуэлистов дуэлист, дворянин из знатнейшей семьи, бросает вызов и по первому и по второму пункту. Ах, этот бессмертный passado! Ах, punto riverso!

Шекспир, «Ромео и Джульетта».

Множество дам и богатых разодетых кавалеров скакало верхом по всем направлениям во дворе замка. Звуки труб, собачий лай, громкие шутки наездников, — все это создавало шум, гул, приятный охотничьему слуху и отвратительный для всякого другого.

Мержи машинально последовал за своим братом во двор и, сам не зная как, оказался рядом с прекрасной графиней, которая сидела, замаскировавшись, на горячей андалузской лошади, нетерпеливо кусавшей удила и ударявшей копытами землю. Но даже на этой лошади, которая всецело своими движениями могла бы поглотить внимание седока, графиня казалась сидящей

спокойно, словно в кресле своей комнаты. Капитан подошел под предлогом желания укоротить мундштук андалузской лошади.

— Вот мой брат, — сказал он амазонке вполголоса, но так, чтобы Мержи его слышал, — будьте помягче с бедным малым, он совсем опустил крылья с той минуты, как увидел вас в Лувре.

— А я уже забыла его имя, — ответила она довольно резко, — как его зовут?

— Бернар! Обратите внимание, сударыня: перевязь такого же цвета, как лента у вас.

— Сидеть на лошади умеет?

— Вы будете иметь случай судить об этом.

Он поклонился и поспешно отошел к какой-то королевской фрейлине, которой с недавних пор оказывал знаки внимания. Слегка наклонившись к седельной луке и положив руку на поводья лошади своей дамы, он забыл через минуту о брате и о его прекрасной, гордой спутнице.

— Оказывается, вы знакомы с Коменжем, господин Мержи? — спросила Тюржис.

— Да, сударыня… очень мало, — пробормотал Мержи, запинаясь.

— Но ведь вы только что с ним разговаривали?

— Да, но в первый раз в жизни.

— Думается, что я догадалась о предмете вашего

разговора.

Сквозь маску глаза графини, казалось, читали в душе Мержи до самой глубины.

Какая-то дама, обратившись к ней, прервала разговор, к огромной радости Мержи, смущенного началом беседы. Тем не менее, совсем не понимая зачем, он продолжал ехать рядом с графиней, быть может он надеялся доставить этим некоторое неудовольствие Коменжу, следившему за ним издали.

Миновали усадьбу. Подняли оленя, метнувшегося в лес. Вся охота бросилась ему вдогонку, и Мержи не без удивления наблюдая, с каким огромным искусством Тюржис справляется с лошадью и с какой неустрашимостью заставляет она ее брать барьеры, встречающиеся на пути. Берберский конь Мержи не отставал от лошади графини, но к большой досаде мерзкий граф Коменж, обладавший столь же хорошей лошадью, успевал быть рядом с графиней, несмотря на бешеный галоп и свою занятость ходом охоты. Он часто бросал графине несколько слов, на зависть Мержи, слов беспечных, легких, тем более вводящих в досаду Мержи, что они, повидимому, нравились графине. В конце концов, для обоих соперников, разгоряченных благородным со-

ревнованием, уже не было достаточно высоких изгородей, достаточно широких рвов, которые могли бы остановить их, и раз двадцать каждый из них рисковал сломать себе шею.

Внезапно графиня, отделившись от основной группы охотников, взяла направление по лесистой дороге, находившейся под прямым углом к той, по которой направились король и его свита.

— Что вы делаете! — воскликнул Коменж. — Вы потеряете дорогу; разве вы не слышите звуков рогов и лая собак на той стороне?

— Ну так поезжайте другой дорогой, кто вас держит?

Коменж ничего не ответил и поскакал за ней. Мержи поступил так же, и когда они проникли шагов на сто, на двести, графиня замедлила шаг лошади на новом пути. Коменж справа и Мержи слева также стали сдерживать лошадей.

— У вас прекрасный боевой конь, господин де-Мержи, — заметил Коменж, — он не взмылился нисколько.

— Это берберская лошадь, купленная братом у одного испанца. Вот знак от сабельного удара, нанесенного коню в битве при Монконтуре.

— Вы уже были на воине? — спросила графиня де-Мержи.

— Нет, сударыня.

— Так вы никогда не были ранены пулей?

— Нет, сударыня.

— Ни холодным оружием?

— Тоже нет.

Мержи показалось, что она улыбнулась. Коменж хвастливо вздернул ус.

— Ничто так не украшает молодого дворянина, как добрая рана, — сказал он, — что вы на это скажете, сударыня?

— Да, если она получена в честном бою.

— Что, по-вашему, значит честный бой?

— Рана приносит славу, если получена на поле битвы. Дуэльные раны — это совсем другое дело, я не знаю ничего более заслуживающего презрения.

— Господин Мержи, я полагаю, говорил вам нечто перед тем, как сесть в седло?

— Нет, — сухо ответила графиня.

Мержи повернул лошадь к Коменжу и тихо сказал ему:

— Сударь, тотчас же, как только мы соединимся с главной охотой, мы можем поехать с вами в высокий кустарник, и я надеюсь там доказать вам, что я не предпринимал никаких шагов, дабы избежать встречи с вами.

Коменж глядел на него с видом, в котором отражались в сочетании и жалость и удовольствие.

— Тем лучше, я хочу верить вам, — ответил он, — но, что касается сделанного вами предложения, я не могу его принять. Мы не какие-нибудь хамы, чтобы драться наедине, да и к тому же наши друзья — участники этого торжества — не простили бы нам того, что мы, не дождавшись, лишили их этого удовольствия.

— Как вам будет угодно, сударь, — сказал Мержи и снова поехал рядом с графиней, лошадь которой успела уйти вперед. Графиня ехала с головой, опущенной на грудь, и, казалось, всецело была занята своими мыслями. Все трое молча доехали до перекрестка, которым кончалась тропинка.

— Кажется, мы слышим звук трубы? — спросил Коменж.

— По-моему, это со стороны заросли, влево от нас, — ответил Мержи.

— Да, это трубит рог, и я уверен теперь, что это болонский рог. Разрази меня бог, если это не трубач моего приятеля Помпиньяна. Вы представить себе не можете, господин Мержи, какая огромная разница между болонским охотничьим рогом и теми, которые выходят из рук наших жалких

парижских ремесленников.

— Этот слышен на огромное расстояние.

— А какое полнозвучное пение! Собаки, услышав его, забывают десятимильный пробег. Сказать правду, прекрасные вещи умеют делать только в Италии и во Фландрии. Что вы скажете об этом вороте валонского образца? Он так идет для охотничьей одежды. У меня есть вороты и брыжи, сбитые в пену, для бального костюма, но этот совершенно простой; вы думаете, его сумели бы вышить в Париже? Ничуть не бывало. Он доставлен мне из Бреды; если хотите, я закажу вам такой же через моего друга, живущего во Фландрии… Но, — он оборвал речь громким взрывом хохота, — вот рассеянность, боже мой, я совсем и не подумал…

Графиня остановила коня.

— Коменж, охота прямо перед нами, и, судя по пению рогов, начали травить оленя.

— Прекрасная дама, я уверен, что вы правы.

— И что же? Вы не хотите быть участником травли?

— Обязательно, иначе погибла наша слава охотников и наездников.

— Так вот, надо спешить.

— Да, наши лошади отдышались немного. Итак,

давайте нам знак.

— Я? Я устала. Я остаюсь здесь. Господин Мержи останется со мною. Ну, отправляйтесь.

— Но…

— Но… Неужели вам нужно говорить два раза? Дайте шпоры.

Коменж не двигался с места. Краска залила ему лицо. Он с бешенством переводил глаза то на Мержи, то на графиню.

— Госпоже Тюржис необходимо остаться вдвоем, — сказал он с горькой улыбкой.

Графиня повелительным жестом указала в направлении кустарника, откуда неслись звуки рога, и сделала концами пальцев весьма многозначительный жест. Но Коменж еще, казалось, не собирался предоставить поле действия своему сопернику.



— Ну, кажется, придется говорить напрямик. Оставьте нас, господин Коменж, ваше присутствие мне противно. Теперь вы меня поняли?

— О, вполне, сударыня, — ответил он с яростью и досказал, понижая голос, — но что касается этого вашего развлечения, то вам недолго придется забавляться. Прощайте! Господин Мержи, до свиданья!

Два последних слова он произнес с особым подчеркиванием, потом, сразу давая обе шпоры, он пустился вскачь.

Графиня придержала лошадь, стремившуюся последовать за ускакавшим, перевела ее в шаг и сначала ехала молча, по временам поднимала голову, вскидывая глаза на Мержи, словно собираясь заговорить, но отводила глаза в сторону, чувствуя смущение от того, что не может найти начальной фразы для разговора. Мержи счел себя обязанным начать первым.

— Горжусь, сударыня, оказанным мне предпочтением.

— Господин Бернар… умеете ли вы обращаться с оружием?

— Да, сударыня, — ответил он с удивлением.

— Но я хочу спросить, умеете ли обращаться хорошо, очень хорошо?

— Достаточно хорошо для дворянина и несомненно плохо для фехтовального мастера.

— Но в стране, в которой мы живем, дворяне лучше владеют оружием, чем профессиональные фехтовальщики.

— Действительно, мне говорили, что они теряют в фехтовальных залах время, которое они могли бы использовать гораздо лучше.

— Лучше?

— Да, конечно. Не лучше ли беседовать с дамой, — прибавил он с улыбкой, — чем обливаться потом в фехтовальном зале?

— Скажите мне, часто ли вы дрались на дуэли?

— По милости божьей, ни разу, сударыня. Но почему предлагаете вы этот вопрос?

— Примите за правило, что никогда не следует спрашивать даму, почему она поступает так или иначе; по крайней мере, таковы правила благовоспитанного дворянства.

— Буду сообразовывать с ними свои поступки, — сказал Мержи с легкой улыбкой, отвешивая поклон до самой конской шеи.

— Тогда… как же вы поступите завтра?

— Завтра?

— Да, не делайте удивленного вида.

— Сударыня…

— Отвечайте прямо на вопрос: я знаю все. Отвечайте же! — воскликнула она, протягивая к нему руку с жестом королевы; концом пальца она коснулась обшлага Мержи. Он вздрогнул.

— Сделаю все, что могу, — наконец, произнес он.

— Ваш ответ мне нравится. Вы не трус и не забияка. Но должны знать, что ваше первое выступление сталкивает вас с очень опасным человеком.

— Что делать? Несомненно, мне будет очень трудно, как и сейчас, — прибавил он улыбаясь. — Я видел всегда только крестьянок, а сейчас, в мое первое появление при дворе, я говорю наедине с прекраснейшей из женщин двора королевской Франции.

— Ну, будем говорить серьезно. Коменж — первый фехтовальщик этого двора, при котором столько завзятых головорезов. Он — король утонченных дуэлистов.

— Говорят.

— Ну, и вы нисколько не обеспокоены?

— Повторяю, я сделаю все, что могу. Никогда нельзя отчаиваться, имея добрую шпагу и божью помощь.

— Божью помощь? — прервала его графиня с

пренебрежительным видом. — Да вы что, гугенот, господин Мержи?

— Да, сударыня, — ответил он сурово, по привычке именно так отвечать на подобные вопросы.

— Следовательно, вы подвергаетесь еще большему риску, чем другие.

— Почему?

— Подвергать опасности свою жизнь это еще не так страшно, но вы ставите под угрозу кое-что подороже: вашу душу.

— Вы рассуждаете, сударыня, согласно понятиям вашей религии. Понятия моей веры более успокоительны.

— Вы играете в плохую игру. Ставка на вечные мучения. Больше половины шансов не на вашей стороне.

— В обоих случаях судьба одна, ибо если завтра я умру католиком, то смерть настигнет меня в состоянии смертного греха.

— Сказано слишком сильно. Есть большая разница, — воскликнула она, уколотая тем возражением, которое Мержи заимствовал из ее же собственных верований. — Наши доктора богословия объяснят вам…

— О, я не сомневаюсь. Они все сумеют объ-

яснить, они с такой легкостью меняют слова священного писания, следуя влечению собственной фантазии, например…

— Довольно об этом. Ни минуты нельзя говорить с гугенотом без того, чтобы он не начал приводить тексты кстати и некстати.

— Это потому, что мы знаем священное писание, в то время как даже ваши священники не знают его. Но хорошо, переменим разговор. Как вы думаете, олень уже затравлен?

— Значит, вы очень привержены вашей вере?

— Сударыня, вы сами возобновляете разговор.

— Вы считаете ее правильной?

— Больше того, я считаю ее лучшей, единственной, иначе я переменил бы ее.

— Однако, ваш брат переменил ее?

— У него свои причины, чтобы сделаться католиком, у меня свои, чтобы остаться протестантом.

— Все они упорны и глухи к голосу разума! — воскликнула она в гневе.

— Завтра будет дождик, — произнес Мержи, поглядывая на небо.

— Господин Мержи, дружба к вашему брату и опасность, которой вы подвергаетесь, внушают мне чувство участия к вам…

Он почтительно поклонился.

— Ведь вы, еретики, не верите в мощи?

Он улыбнулся в ответ.

— И вы считаете, что прикосновение к ним вас осквернит? Вы отказались бы надеть ладанку с мощами, как это в обычае у нас, католиков?

— Этот обычай кажется нам, протестантам, по меньшей мере бесполезным.

— Послушайте. Однажды кто-то из моих двоюродных братьев надел на шею охотничьей собаки ладанку, а потом на расстоянии двенадцати шагов пустил в нее заряд аркебузы, набитый картечью.

— Он убил собаку?

— Ни одна дробинка не коснулась ее.

— Вот это замечательно! Как я хотел бы иметь такую ладанку!

— Правда? И вы стали бы ее носить?

— Конечно, если ладанка защищает собаку, то тем более… Но в данную минуту, скажите правду, неужели еретик стоит собаки, разумеется, католической собаки?

Не слушая его, госпожа Тюржис быстро расстегивала пуговицы на груди. Она достала маленькую, совершенно плоскую золотую коробку на черной ленте.

— Возьмите, — сказала она, — вы обещали мне ее носить и когда-нибудь вы вернете ее.

— Если я смогу, конечно.

— Но, послушайте, вы будете ее беречь, не допустите никаких кощунств, вы будете тщательно ее хранить?

— Она от вас, сударыня.

Она передала ему ладанку, которую он принял и надел на шею.

— Католик поблагодарил бы поцелуем руки, которая протянула ему этот священный талисман.

Мержи схватил руку и хотел поднести к губам.

— Нет, нет, теперь поздно.

— Подумайте, быть может, никогда уж я не буду иметь такого счастья.

— Снимите мне перчатку, — сказала она, протягивая ему руку.

Когда он снимал перчатку, ему почудилось легкое рукопожатие. Он запечатлел горячий поцелуй на этой прекрасной белоснежной руке.

— Господин Бернар, — произнесла графиня взволнованным голосом, — вы до конца останетесь упорным? Нет никакой возможности тронуть вашу душу? Обратитесь ли вы, наконец, к истинной вере ради меня?

— Но, право же, не знаю, — отвечал тот со сме-

хом. — Попросите хорошенько и подольше. Одно несомненно, что, кроме вас, никто не сможет меня обратить.

— Скажите мое откровенно… Если бы женщина… какая-нибудь… которая сумела бы… — она остановилась.

— Которая сумела бы — что?

— Да вот, например… сумела бы любовью?.. Но будьте откровенны и скажите серьезно.

— Серьезно? — Мержи снова старался поймать ее руку.

— Да. Если бы любовь к женщине другого вероисповедания… что, такая любовь не могла бы вас заставить переменить?.. Все средства хороши для бога.

— Вы хотите, чтобы я отвечал вам откровенно и серьезно?

— Я требую этого.

Мержи опустил голову и колебался с ответом. В действительности он подыскивал способ уклониться от ответа. Тюржис шла ему навстречу настолько, что он не собирался ее отталкивать. С другой стороны, находясь при дворе всего лишь несколько часов, он чувствовал, как задета в нем щепетильность его провинциальной совести.

— Я слышу охотничьи крики, — вдруг восклик-

нула графиня, не дождавшись столь трудного ответа. Она ударила лошадь хлыстом и пустила ее галопом. Мержи следовал за нею, но не мог добиться ни взгляда, ни слова. Вскоре они присоединились к главной охоте.

Олень бросился вначале на середину пруда. Выгнать его оттуда стоило немало труда. Многие кавалеры спешились и длинными жердями принудили бедного зверя возобновить побег. Но холодная вода окончательно истощила его силы. Он вышел из пруда, задыхаясь, высунув язык, и бежал, брыкая копытами. У собак, наоборот, удвоилась горячность. Недалеко от пруда олень, чувствуя, что бегством спастись невозможно, казалось, делал последние усилия и, повернувшись кругом к огромному дубу, смело выставил голову навстречу собакам. Первые добежавшие псы взлетели на воздух с разорванными внутренностями. Чья-то лошадь вместе с всадником грубо была повержена наземь. Люди, лошади и собаки, поневоле остепенившись, расположились вокруг оленя, не осмеливаясь, однако, приближаться более к его грозным разветвляющимся рогам.

Король спешился с большой ловкостью и, держа охотничий нож в руке, подкрался к дубу и сзади перерезал жилы на ногах оленя. Олень

испустил какой-то жалобный свист и медленно стал оседать. В мгновение ока двадцать собак бросились на него. Несмотря на то, что они висели на нем, вцепившись в горло, в морду, в язык, олень держался неподвижно. Огромные слезы текли у него из глаз.

— Пустите дам, пустите дам, — кричал король.

Дамы приблизились.

— Вот тебе, проклятый еретик! — сказал король, вонзая нож в олений бок и поворачивая лезвие, чтобы расширить рану. Кровь брызнула с силой и покрыла лицо, руки и одежду короля.

Парпайот, или проклятый еретик, — это презрительная кличка, даваемая кальвинистам католиками. Это выражение и обстоятельства, при которых оно было произнесено, многим не понравилось, между тем как другие встретили его шумными одобрениями.

— Король похож на мясника, — сказал довольно громко с нескрываемым отвращением молодой Телиньи, зять адмирала.

Милосердные души, которых всегда бывает много при дворе, не позабыли довести это выражение до сведения: короля, а король его не забыл.

Насладившись приятным зрелищем собак, по-

жирающих внутренности оленя, двор тронулся обратно в Париж. По дороге Мержи рассказал брату о полученном оскорблении и о последующем вызове на дуэль, и, так как советы и урезонивания были уже бесполезны, капитан согласился сопровождать Мержи утром следующего дня.

Глава одиннадцатая
УТОНЧЕННЫЙ ДУЭЛИСТ И ПРЕ-О-КЛЕР

Один из нас в живых не будет боле

В тот час, когда другой оставит поле.

(Поединок Стюарта с Уортоном.)

Несмотря на усталость после охоты, Мержи провел без сна добрую половину ночи. Лихорадочный огонь заставлял его метаться на постели и вызывал в нем деятельность воображения, доводящую его до отчаяния. Тысячи мыслей посторонних и даже вовсе не относящихся к настоящему событию осаждали и мучили его мозг. Не раз он думал, что одолевающая его лихорадка предвещает серьезную болезнь, которая не замедлит через несколько часов со всей силой пригвоздить его к кровати. Что станется тогда с его честью? Что скажет тогда свет? Что будут говорить Тюржис, Коменж, и он многое дал бы, чтобы ускорить наступление часа, назначенного для дуэли.

И вот, с восходом солнца, к счастью, он почувствовал, что кровь струится ровнее, и он с меньшей тревогой стал думать о предстоящей встрече. Одевался он уже спокойно и даже не без некоторой заботливости о красоте одежды. Ему представлялось, как на место поединка прибегает прекрасная графиня, находит его с пустячной раной, делает ему перевязку собственноручно и уже не скрывает больше своей любви. На лувр-ских часах пробило восемь. Бой часов прервал его мечты, и почти в тот же момент в комнату к нему вошел брат.

Глубокая печаль отражалась на его лице, и казалось, что он провел свою ночь не лучше. Однако, пожимая руку Мержи, он силился придать своему лицу выражение хорошего настроения.

— Вот рапира, — сказал он, — а вот кинжал с хорошей чашкой. И то, и другое от Луно из Толедо. Взгляни, придется ли тебе по руке шпага, — и он бросил длинную шпагу на кровать Мержи. Мержи вынул ее из ножен, испробовал ее гибкость, пощупал острие и остался вполне доволен. Потом он обратил внимание на кинжал. Чашка около рукоятки была пронизана насквозь множеством мелких отверстии, сделанных с целью зацепить острие неприятельской шпаги и задержать его

так, чтобы не легко было вытащить.

— Полагаю, что с таким прекрасным оружием я смогу защищаться, — сказал Мержи. Потом показал ладанку с мощами, данную ему госпожой Тюржис и повешенную на грудь, и прибавил, улыбаясь:

— Вот еще одно средство, спасающее от ударов не хуже кольчуги.

— Откуда у тебя эта безделушка?

— Догадайся! — и легкое тщеславие, проявившееся в желании показаться дамским любимцем, вдруг на минуту заставило его выбросить из головы и Коменжа, и боевую шпагу, которая без ножен лежала уже рядом с ним.

— Бьюсь об заклад, что эта сумасшедшая графиня вручила тебе эту вещичку, чтоб чорт ее побрал с ее коробкой.

— А знаешь, что это — талисман. Он мне дан нарочно для того, чтобы я воспользовался им в сегодняшний день.

— В тысячу раз лучше было бы, если бы она не снимала вовсе перчаток в тот день, когда ей захотелось похвастаться красотой и белизной своей руки.

— Сохрани меня боже от веры в мощи папистов! — воскликнул Мержи. — Но, если мне

суждено сегодня пасть, я хочу, чтобы она знала, что перед смертью я имел на груди этот залог.

— Какая суетность! — воскликнул капитан, пожимая плечами.

— Вот письмо к матушке, — сказал Мержи, слегка дрожащим голосом.

Жорж взял письмо, ни слова не говоря, и, подойдя к столу, открыл маленькую библию и принялся за чтение, чтобы чем-нибудь наполнить время, покуда брат кончал одеваться и завязывал множество шнурков и ленточек, которые тогда были необходимой принадлежностью одежды.

На первой попавшейся ему на глаза странице он прочел следующие слова, написанные рукою его матери:

> *«1 мая 1547 года родился у меня сын, названный Бернаром. Наставь его, боже, на путь свой и сохрани его от зла».*

Он до боли закусил губу и отбросил книгу. Мержи заметил это движение и подумал, что брату в голову пришла какая-нибудь нечестивая мысль. С серьезным видом вложил он библию обратно в вышитый футляр, и запер в шкаф со всеми знаками величайшего почета.

— Это библия моей матери, — сказал он.

Капитан ходил по комнате, ничего не отвечая.

— Не пора ли уж итти? — спросил Мержи, пристегивая к поясу свою шпагу.

— Нет еще, мы еще успеем позавтракать.

Оба сели за стол, уставленный пирогами разного сорта, между которыми стоял большой серебряный жбан с вином. За едою они, не спеша и с видимым интересом, оценивали качество вина, сравнивая его с другими сортами из капитанского погреба. Этими пустыми разговорами каждый старался укрыть от собеседника подлинные мысли, занимавшие голову.

Капитан поднялся первым.

— Пойдем, — сказал он внезапно потускневшим голосом.

Он надвинул шляпу низко на лоб и стремительно сбежал по лестнице.

Оба сели в лодку и переплыли через Сену. Лодочник, по выражению лиц догадавшийся о причинах поездки в Пре-о-Клер, проявлял большое усердие и, не прекращая энергичной гребли, рассказывал им со всеми подробностями, как в прошлом месяце двое господ, из которых один назвался Коменжем, удостоили его чести найма лодки, чтобы в ней драться спокойно, не боясь помехи. Партнер по дуэли с господином Коменжем,

фамилию которого лодочник, к своему сожалению, забыл, упал головою в реку, и лодочнику так и не удалось достать его из воды.

В минуту причала Мержи с братом заметили лодку с двумя пассажирами, пересекавшую реку на сто шагов ниже.

— Вот и они, — сказал капитан, — побудь здесь. — С этими словами он побежал к лодке, в которой ехали Коменж и виконт Бевиль.

— Ах, это ты! — воскликнул последний. — Скажи же, пожалуйста, кого же Коменж сейчас убьет: тебя или твоего брата?

Бевиль обнял Жоржа со смехом. Капитан и Коменж обменялись церемонными приветствиями.

— Сударь, — обратился капитан к Коменжу, освобождаясь от объятии Бевиля, — я считаю, что на мне лежит долг сделать еще попытку предотвратить губительные последствия ссоры, не вызванной поводом, затрагивающим честь; я уверен, что мой друг, — он указал на Бевиля, — присоединит свои усилия к моим.

Бевиль ответил отрицательной ужимкой.

— Мой брат очень молод, — продолжал Жорж. — Он человек без имени и без опыта в деле поединка. Ясно, что отсюда следует некоторое

принуждение, в силу которого человек должен высказать себя больше, чем кто-нибудь другой, со стороны способностей известного рода. Вы же, сударь, наоборот, имеете вполне завершенную славу, и ваша честь только выгадает, если вы соблаговолите перед господином Бевилем и мною признать, что только по неосмотрительности…

Коменж прервал его взрывом сильнейшего хохота.

— Да вы что, шутите, что ли, дорогой капитан? Или вы считаете меня способным ни свет ни заря бросить в постели мою любовницу… переплывать реку — и все это для того, чтобы извиниться перед какой-то дрянью?

— Вы забываете, милостивый государь, что лицо, о котором вы говорите, приходится мне братом и что ваши слова оскорбляют…

— Пусть он будет хоть вашим отцом, мне никакого дела нет до этого, равно как и до всей вашей семьи.

— Ну, в таком случае, милостивый государь, с вашего разрешения вам придется иметь дело со всей семьей, и так как я старший, то вы начнете с меня.

— Прошу прощения, господин капитан, по существующим правилам дуэли я обязан биться с

тем лицом, которое меня вызвало раньше. Ваш брат имеет право на первенство, неоспоримое право, как говорится в суде, а когда я его прикончу, можете мною располагать.

— Это совершенно правильно, — воскликнул Бевиль, — и я со своей стороны не могу допустить, чтобы было иначе.

Мержи, удивленный, что разговор так затянулся, тихо приблизился. Он подошел как раз вовремя, потому что услышал, как брат осыпает Коменжа всевозможными оскорблениями, вплоть до выкрика: «трус», между тем как Коменж на все отвечал с непоколебимым хладнокровием:

— После вашего брата я займусь вами.

Мержи схватил брата за руку:

— Жорж, — воскликнул он, — так-то ты мне помогаешь: ты хочешь, чтобы я был для тебя тем, чем пришлось тебе быть ради меня! Милостивый государь, — сказал он, оборачиваясь к Коменжу, — я к вашим услугам: мы можем начать, когда вам угодно.

— Я хочу сейчас, — ответил тот.

— Вот это превосходно, дорогой мой! — воскликнул Бевиль, пожимая руку Мержи. — Если я сегодня не зарою тебя в землю с чувством глу-

бокого сожаления, то ты пойдешь далеко, милый малый!

Коменж скинул камзол и развязал ленты на туфлях в знак того, что он не измерен ни на шаг сдвинуться с места. Это была мода профессиональных дуэлистов. Мержи и Бевиль последовали его примеру. Лишь капитан не сбросил даже своего плаща.

— Что же ты, друг Жорж, — спросил Бевиль, — разве ты не знаешь, что тебе придется сцепиться со мной? Мы не из тех секундантов, что, сложа руки, смотрят, как дерутся друзья. Мы применяем андалузские правила.

Капитан пожал плечами.

— Ты что же, думаешь, что я шучу? Клянусь честью, тебе придется со мной драться.

— Ты безумец или дурак, — холодно произнес капитан.

— Чорт возьми, ты отдашь мне отчет за оба словечка или вынудишь меня… — он замахнулся шпагой в ножнах, словно хотел ударить Жоржа.

— Ты этого захотел, — сказал капитан. — Будь по-твоему, — и в мгновение ока скинул свой камзол.

Коменж с совершенно неподражаемой грацией вскинул шпагу в воздух, и ножны слетели с лез-

вия в мгновение ока, упав в двадцати шагах.

Бевиль хотел сделать то же, но только наполовину скинул ножны, а это считалось не только признаком неловкости, но и дурной приметой.

Братья обнажили свои шпаги с меньшим блеском и отшвырнули ножны руками, так как ножны могли им помешать. Каждый встал в позицию против партнера с обнаженной шпагой в правой руке и с кинжалом в левой.

Четыре клинка одновременно скрестились.



Посредством приема, именовавшегося тогда у итальянских фехтовальщиков «siscio di spada e cavare alia vita»[46] и состоящего в том, чтобы противопоставить слабому материалу сильный

[46] Примечания: 46

«Бить по шпаге, отводя ее от тела». Все фехтовальные термины тогдашнего времени были взяты из итальянского языка.

и таким образом отвести оружие противника, Жорж с первого удара выбил шпагу из рук Бевиля и приставил острие своей шпаги к его сердцу. Но вместо того, чтобы вонзить ее, он холодно и спокойно отвел оружие.

— Наши силы неравны, — сказал он, — берегись меня разозлить.

Бевиль покрылся бледностью при виде шпаги Жоржа на таком близком расстоянии от своей груди. Немного сконфуженный он протянул ему руку, и оба, воткнувши шпаги в землю, стали заниматься только наблюдением главных действующих лиц этой сцены.

Мержи был храбр и хладнокровен. Он обладал вполне достаточными знаниями фехтовального искусства, и его запас физических сил был больше, чем у Коменжа, на котором, повидимому, сказалось утомление предшествующей ночи. В течение некоторого времени он ограничивался осторожными парадами, отступая, когда Коменж слишком приближался, и не переставая угрожать его лицу концом своей шпаги, одновременно прикрывая собственную грудь кинжальной чашкой. Это неожиданное сопротивление раздражило Коменжа; было заметно, как он покрывался бледностью. У человека столь храброго, как он,

бледность могла быть только признаком гнева. Он продолжал нападать с удвоенной яростью. При одном из выпадов он очень ловко отбил шпагу Мержи нижним ударом кверху и, напав с настойчивостью, неминуемо пронзил бы его насквозь, если бы не случайное обстоятельство, похожее на чудо и испортившее этот удар: острие рапиры встретило ладанку из гладкого золота и, скользнув по ней, сделало косой укол; вместо того чтобы вонзиться, шпага проткнула только кожу и, пройдя вдоль пятого ребра, вышла всего лишь на расстоянии двух пальцев от входного отверстия шпаги. Не успел Коменж вынуть свое оружие, как Мержи ударил его в голову кинжалом с такой силой, что сам потерял равновесие и упал наземь. Коменж упал одновременно, так что секунданты сочли их обоих убитыми.

Мержи немедленно вскочил, и первым его движением было поднять шпагу, выскользнувшую из рук во время падения.

Коменж лежал неподвижно.

Бевиль слегка приподнял его. Лицо было залито кровью, и, стерев ее, Бевиль увидел, что кинжал проткнул глаз и что друг его убит наповал, ибо клинок глубоко вошел в мозг.

Мержи глядел на труп застывшим взглядом.

— Ты ранен, Бернар? — сказал капитан, подбегая к нему.

— Ранен? — спросил Мержи. И только теперь он заметил, что вся рубашка у него смочена кровью.

— Это ровно ничего не значит, — сказал капитан. — Это скользящий удар. — Он остановил кровь платком и попросил Бевиля дать его платок, чтобы сделать перевязку. Бевиль опустил на траву тело, которое он держал, и подал Жоржу свой платок и платок Коменжа, вынутый из камзола убитого.

— Бог ты мой, приятель, какой дьявольский кинжальный удар! У тебя бешеная рука. Чорт меня возьми! Что скажут теперь господа утонченные дуэлисты Парижа, если появятся молодцы из провинции вроде вас? Скажите на милость, сколько раз вы дрались на дуэли?

— Увы, — ответил Мержи, — это всего первый раз. Но ради бога, окажите помощь вашему другу.

— Чорта с два! Вы его так ладно пристроили, что он не нуждается ни в какой помощи: клинок в мозгу. Удар такой жесткий и сильный, что… взгляните-ка на эту кровь, на эту щеку: кинжальная рукоятка вошла туда, словно печать в

мягкий воск.

Мержи задрожал всем телом, и крупные слезы капля за каплей потекли у него по щекам.

Бевиль поднял кинжал и внимательно стал смотреть на кровь, наполнявшую выемки клинка.

— Вот и инструмент, которому младший брат Коменжа должен поставить толстую свечу: этот прекрасный кинжал сделал его наследником богатейшего состояния.

— Уйдемте отсюда, уведи меня отсюда, — сказал Мержи угасшим голосом, хватая брата за руку.

— Не сокрушайся, — сказал Жорж, помогая брату надеть камзол. — В конце концов человек, которого ты сейчас убил, не слишком уж вызывает сожаление.

— Бедный Коменж! — воскликнул Бевиль. — И сказать только, что убил тебя юнец, дравшийся первый раз в жизни, тебя, дравшегося сотни раз. Бедный Коменж!

Этими словами завершилась надгробная речь Бевиля.

Бросив последний взгляд на друга, Бевиль заметил часы, висевшие согласно обычаю тогдашнего времени у покойного на шее.

— Чорт возьми! — воскликнул он. — Ты уже не

интересуешься знать, который теперь час!

Говоря так, он снял часы и спрятал себе в карман, пробормотав, что брат Коменжа и без того будет богат, а ему хочется иметь что-либо на память о друге.

Так как братья собрались уже итти, он крикнул им, торопливо надевая камзол:

— Подождите меня! Эй, господин Мержи, вы забыли свой кинжал. Не потеряйте его, смотрите! — он вытер рубашкой убитого клинок кинжала и побежал вдогонку за молодым дуэлистом.

— Утешьтесь, дорогой мой, — сказал он ему, когда все садились в лодку, — не делайте плачущего лица, послушайте моего совета: вместо того чтобы плакать, отправляйтесь сегодня же к вашей новой любовнице. Ну, перевозчик, греби так усердно, словно ты добиваешься в награду целой пистоли. Вон приближаются к нам люди с алебардами. Эти господа — сержанты из Нельской башни, а нам едва ли нужна встреча с ними!

Глава двенадцатая
БЕЛАЯ МАГИЯ

Сегодня ночью приснились мне дохлая рыба и битые яйца, а от господина Анаксарка я узнал, что битые яйца и дохлая рыба означают несчастье.

Мольер, «Великолепные любовники».

Люди, вооруженные алебардами, были караульщики из военного дозора, всегда находившегося по соседству с Пре-о-Клером, чтобы во всякую минуту быть наготове прервать ссоры, обычно разрешаемые на этой классической земле дуэлей. В силу укоренившейся привычки они двигались очень медленно, чтобы притти к тому моменту, когда дело будет уже закончено. Это было вызвано тем, что их попытки восстановить мир большею частью встречали весьма неблагосклонный прием. И неоднократно бывало так, что непримиримые враги на время мирились — лишь бы соединенными силами отразить вмешательство солдат, стремящихся развести противников. Таким образом, обязанность этих дозорных чаще всего сводилась к тому, что они

оказывали помощь раненым и уносили тела убитых. Так и на этот раз обязанности стражи свелись к тому, чтобы выполнить последнюю задачу, которую они по обыкновению довели до конца, то есть опорожнили карманы несчастного Коменжа и поделили между собой его одежду.

— Дорогой мои друг, — сказал Бевиль, оборачиваясь к Мержи, — могу вам дать совет: пусть вас как можно скорее тайно переправят к господину Амвросию Паре; он удивительный человек на случай, если нужно заштопать какую-нибудь рану. Правда, он еретик, вроде самого Кальвина, но его познания пользуются такой славой, что к его помощи прибегают самые завзятые католики. До нынешнего дня лишь одна маркиза Буасьер избрала храбрую смерть, чтобы не обращаться к гугеноту ради спасения жизни. Таким образом, я закладываю десять пистолей за то, что она уже находится в раю.

— Рана — это вздор, — сказал Жорж, — не пройдет и трех дней, как она затянется, но у Коменжа есть в Париже родственники, и я боюсь, как бы они не приняли его смерть слишком близко к сердцу.

— Да, да, у него осталась мать, которая приличия ради почтет своим долгом возбудить против

нашего друга судебное преследование. Ба! просите о помиловании через господина Шатильона. Король немедленно согласится: ведь он как воск в руках адмирала.

— Мне хотелось бы, если это возможно, — произнес Мержи слабеющим голосом, — мне хотелось бы, чтобы адмирал ровно ничего об этом не знал.

— Но почему же? Неужели вы думаете, что эта сивая борода рассердится, узнав, как молодецки протестант отправил на тот свет католика.

Мержи ответил только глубоким вздохом.

— Коменж слишком известен при дворе, чтобы смерть его не возбудила толков, — произнес капитан, — но ты исполнил долг дворянина, и во всей этой истории нет ничего такого, что могло бы тебя обесчестить. Я давно не был у старого Шатильона, и вот прекрасный случай возобновить с ним знакомство.

— Так как просидеть под арестом никогда не доставляет удовольствия, даже если это всего лишь несколько часов, — заговорил Бевиль, — то я увезу твоего брата в такой дом, где никому в голову не придет его отыскивать. Там он будет находиться в полном спокойствии, пока его дело не уладится, так как я весьма сомневаюсь в том,

чтобы его, как еретика, пустили в какой-нибудь монастырь.

— Благодарю вас за предложение, сударь, — сказал Мержи, — но принять его я не могу. Согласившись на него, я могу поставить вас в неловкое положение.

— Ничуть, ничуть, мои дорогой; к тому же разве нельзя оказать кой-какие услуги своим друзьям? Тот дом, куда я вас намерен поместить, принадлежит одному из моих двоюродных братьев, который в настоящую минуту не проживает в Париже. Дом находится в моем распоряжении. Там даже есть некто, могущий о вас позаботиться: старушка, весьма полезная молодым людям и вполне преданная мне. Она обладает познаниями в магии, медицине и астрономии. Чем только она ни занимается! Но самый лучший ее талант — это талант сводни. Порази меня гром и молния, если она откажется по моей просьбе вручить любовную записку хотя бы самой королеве.

— Хорошо, — сказал капитан. — Мы перевезем его в этот дом тотчас после того, как ученый Амвросий окажет ему первую помощь.

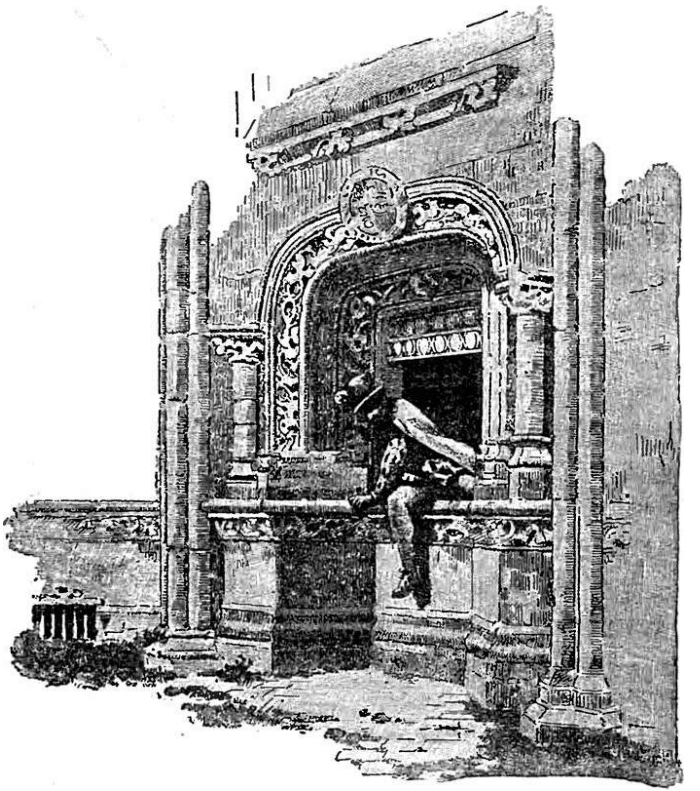
Ведя этот разговор, они перебрались на правый берег, не без труда посадили они Бернара на седло и довезли его до прославленного хирурга, а

оттуда — в уединенный дом в Сент-Антуанском предместье, где расстались с ним только вечером, уложив раненого в хорошую постель и поручив его заботам старой женщины.

Когда приходится убить человека, особенно в первый раз, то некоторое время, особенно перед ночными часами, воспоминания и вид последней судороги, предшествовавшей смерти убитого вами, мучают вас. Душа так подавлена тяжелыми мыслями и чувствами, что вам очень трудно принимать участие в разговоре, даже самом простом; звук голоса утомляет, надоедают слова, а в то же время одиночество страшит, так как одинокие часы дают силу гнетущим мыслям. Несмотря на частые приходы Бевиля и брата, Мержи провел первые дни после дуэли в состоянии удручающей печали. Лихорадка от раны лишала его ночного сна, и бессонница усиливала его несчастье. Только мысль о том, что Тюржис думает о нем и восхищается его храбростью, немного утешала, но не успокаивала его совсем.

Однажды ночью, подавленный удушливым зноем (это было в июле), он захотел выйти из комнаты, пройтись, подышать воздухом в саду, усаженном деревьями и окружавшем дом. Он накинул плащ и хотел открыть дверь, но комната

оказалась запертой снаружи. Он подумал, что это ошибка старухи, ходившей за ним, и, так как она спала далеко от его комнаты и в ту минуту, по его мнению, была погружена в глубокий сон, звать ее считал бесполезным. Да и окно в комнате было не очень высоко, взрытая земля под окном была мягка, и в одну секунду Мержи очутился в саду. Было облачное небо, ни одна звездочка не высовывала кончика своего носа, и редкие глубокие вздохи ветра лишь изредка и словно с трудом колыхали теплый и тяжелый воздух. Было около двух часов утра, и глубочайшее молчание царило кругом.



Мержи некоторое время ходил погруженный в свои грезы, но они были прерваны ударом в уличную калитку. Это был удар молотком, слабый и как бы таинственный, словно ударявший знал, что кто-то уже прислушивается, чтобы открыть ему. Посещение в такой час уединенного дома могло вызвать удивление. Мержи неподвижно застыл в темном углу сада, откуда он незаметно мог за всем наблюдать. Тотчас же из дома с потайным фонарем в рунах вышла женщина, которая не могла быть ни кем иным, как старухой. Она открыла калитку, и вошел кто-то, закутанный в большой черный плащ с капюшоном.



Любопытство Бернара было возбуждено живейшим образом. Фигура и, в той мере, в какой он мог судить, одежда вошедшего лица говорили о том, что это женщина. Старуха приветствовала

ее со всеми доказательствам большого уважения, в то время как женщина в черном плаще едва ответила ей кивком головы. Вместо этого она вручила старухе что-то, доставившее ей большое удовольствие. По чистому и металлическому звону и по той поспешности, с какой старуха, наклонившись, стала шарить по земле, Мержи понял, что она получила деньги. Обе женщины направились в сад, при этом старуха шла впереди, прикрывая фонарь. В глубине сада было что-то вроде зеленой беседки из лип, посаженных в круг и скрепленных густым кустарником, разросшимся целой стеной. Два входа, или, вернее, две двери вели в эту беседку, посредине которой стоял каменный стол. Туда вошла закутанная женщина со старухой. Мержи с затаенным дыханием, крадучись вслед за ними, встал за кустарником так, чтобы видеть и слышать происходящее там, насколько это позволял скудный свет, освещавший эту стену. Старуха начала с того, что зажгла нечто в жаровне, поставленной посредине стола, что сейчас же загорелось, разливая бледно-синий свет, словно от горения спирта, смешанного с солью. Затем она погасила или прикрыла фонарь, так что при колеблющемся свете жаровни Мержи едва мог разглядеть черты незнакомки, даже если

бы они не были скрыты вуалью и капюшоном. Старуху он тотчас же узнал по росту и по фигуре, но он заметил, что ее лицо было покрыто черной краской, вследствие чего она в своем белом головном уборе казалась похожей на бронзовую статую. На столе расставлены были странные, еле различимые предметы. Повидимому, в их расположении был какой-то причудливый порядок. Мержи казалось, что он различает среди вещей одежду, кости и лоскутки окровавленного белья. Человеческая фигурка, высотою не больше фута, вылепленная, как ему показалось, из воска, стояла среди этих отвратительных лохмотьев.

— Ну, Камилла, — спросила вполголоса дама в вуали, — ты говоришь, ему лучше?

Этот голос заставил Мержи задрожать.

— Немного лучше, сударыня, — ответила старуха, — благодаря нашему искусству. Мне все-таки трудно было достигнуть большого успеха с этими тряпками и с таким небольшим количеством крови на перевязках.

— А что говорит Амвросий Паре?

— О, этот невежда! Вам не все равно, что он говорит? Вы понимаете, я вас уверяю, что рана глубокая, опасная, ужасная, и может быть залечена только по правилам магической симпатии, но

духам земли и воздуха надо приносить жертвы… А для жертвы…

Дама тотчас же все поняла.

— Если он будет здоров, — сказала она, — ты получишь вдвое больше того, что только что получила.

— Вполне надейтесь и рассчитывайте на меня.

— Ах, Камилла, а если он умрет?

— Успокойтесь, — духи милостивы! Звезды покровительствуют нам, а последнее приношение в жертву черного барана расположило Другого в нашу пользу.

— Я принесла тебе то, что удалось добыть мне с огромным трудом. Я поручила купить это у стражников, ограбивших труп. — Она вынула из-под плаща какой-то предмет, и Мержи увидел, как сверкнул клинок шпаги. Старуха взяла его и поднесла к огню, чтобы посмотреть.

— Слава богу, лезвие в крови и заржавело. Да, кровь у него, словно у катейского василиска[47]; она оставляет на стали следы, которые ничем нельзя вытравить.

---

[47] Примечания: 47

Катей — так средневековые писатели Франции называют Китай. Катейский василиск — сказочное чудовище, кровь которого по уверениям средневековых магиков, обладала чудодейственной силой.

Примечание переводчика.

Она смотрела на лезвие, и было очевидно, что дама в вуали испытывает необычайное волнение.

— Взгляни, Камилла, как кровь близка от рукояти, быть может, это был смертельный удар?

— Это кровь не из сердца, он поправится.

— Поправится?

— Да, поправится, но за тем, чтобы подвергнуться неизлечимой болезни.

— Какой болезни?

— Любви.

— Ах, Камилла, правда ли это?

— Когда же слова мои были противны истине, когда предсказания мои обманывали? Разве я не сказала вам заранее, что он выйдет из поединка победителем, не возвестила ли я вам наперед, что духи будут сражаться за него, не зарыла ли я на месте их битвы черную курицу и шпагу, благословенную священником?

— Это все верно.

— А вы сами? Разве вы не пронзили в сердце изображение его противника, направляя, таким образом, удары человека, для которого я применяла свое искусство?

— Это правда, Камилла, я пронзила в сердце изображение Коменжа, но рассказывают, что

все-таки он умер от удара в голову.

— Конечно, оружие пронзило голову, но смерть последовала разве не потому, что кровь сгустилась в сердце?

Дама под вуалью казалась пораженной силою этого доказательства. Она замолчала.

Старуха смазала шпагу маслом и елеем, после чего очень заботливо завернула ее в широкую ленту.

— Видите, сударыня? Масло из скорпионов, которым я тру эту шпагу, с симпатической силой переносится на рану молодого человека. Он чувствует действие этого африканского бальзама так, как будто я проливала его на раненое место; а если бы мне пришлось накалить острие шпаги на огне, то бедный больной испытал бы боль настоящего ожога.

— О, пожалуйста, побереги его.

— Как-то вечером я сидела у очага, запятая натиранием шпаги бальзамом, чтобы излечить одного юношу, получившего два ужаснейших удара этой шпагой в голову. Уставши от работы, я задремала, и вдруг слуга больного стучится ко мне в дверь, крича, что его господни испытывает адские муки, что в то мгновение, когда он его покидал, больной находился словно на горящих

угольях. А знаете, как это случилось? По недосмотру шпага скользнула и лезвие попало на уголья. Я сейчас же схватила ее и сказала слуге, что, когда он вернется, его господин будет чувствовать себя совсем хорошо. И действительно, опустив шпагу в ледяную воду с примесью снадобий, я вышла навестить больного. Вхожу к нему, а он говорит: «Ах, дорогая Камилла, как мне теперь хорошо, словно я принимаю прохладную ванну, а минуту перед тем я чувствовал себя, словно св. Лаврентий на раскаленной решетке».

Она закончила перевязывание шпаги и с удовлетворенным видом произнесла:

— Вот теперь ладно, сударыня, я уверена в его выздоровлении, и вот настала минута, когда вы можете заняться последней церемонией.

Она бросила в огонь щепотку душистого порошка и произнесла несколько заклинаний, беспрерывно осеняя себя крестным знамением. Тогда дама трепещущей рукой взяла восковую фигуру и, держа ее над жаровней, произнесла взволнованным голосом следующие слова:

— Подобно тому, как этот воск топится и горит на огне этой жаровни, так сердце твое, о Бернар Мержи, топится и горит на огне любви ко мне.

— Хорошо! Теперь вручаю вам зеленую свечу,

отлитую в полночь по правилам искусства. Завтра вы зажжете ее на алтаре девы Марии.

— Я исполню это, но, несмотря на все твои обещания, я ужасно беспокоюсь. Вчера мне приснилось, что он умер.

— А как вы спите: на правой или на левой стороне?

— На… на какой стороне, засыпая, видишь правильные сны?

— Сначала вы мне ответьте, на какой стороне вы спите. Я вижу, что вам хочется добиться самообмана. Вы создаете себе воображаемый ответ.

— Я сплю всегда на правой стороне.

— Ну так успокойтесь: ваш сон сулит только счастье.

— Божья воля!.. Но он представился мне бледный-бледный, окровавленный, закутанный в саван…

Говоря так, она повернула голову и увидела Мержи, стоящего в одном из входов беседки. От неожиданности она так закричала, что сам Мержи поразился. Нарочно или нечаянно, старуха опрокинула жаровню, и мгновенно ослепительное пламя вскинулось до вершин деревьев, и на несколько мгновений Мержи почувствовал себя ослепленным. Обе женщины немедленно

ускользнули через второй выход беседки. Вернув себе возможность найти отверстие в кустарнике, Мержи бросился за ними вдогонку, но едва не свалился с первого шага. Какой-то предмет путался у него в ногах. Он узнал шпагу — виновницу своего выздоровления. Некоторое время у него ушло на то, чтобы убрать ее с дороги, но, выбравшись на прямую и широкую аллею и думая, что теперь уж ничто не помешает ему догнать беглянок, он услышал, как захлопнулась уличная калитка. Ушедшие были за пределами досягаемости. Слегка огорченный тем, что выпустил из рук такую прекрасную добычу, Мержи ощупью добрался до своей комнаты и бросился на кровать. Все мрачные мысли вылетели у него из головы, исчезли все угрызения совести в той мере, в какой они у него оставались; все тревоги, внушенные ему его положением, улетучились, как по волшебству. Он думал только о том, какое счастье любить прекраснейшую женщину Парижа и быть любимым ею, ибо никаких сомнений не оставалось, что дама в вуали была сама Тюржис. Он заснул почти перед рассветом и проснулся не раньше, чем разгорелся яркий день. На подушке он нашел запечатанное письмо, положенное совершенно непонятным образом. Он распечатал и прочел

следующее:

«Кавалер, женская честь зависит от вашей скромности»

Через минуту вошла старуха, неся бульон. Вопреки обычаю, у нее на поясе висели крупные четки. Лицо было тщательно вымыто и походило не на бронзу, а скорее на закопченный пергамент. Она шла медленно, с опущенными глазами, словно человек, боящийся, что созерцание земных предметов нарушит его небесную созерцательность. Мержи решил, что самым достойным проявлением того свойства, которое от него требовала записка, будет осведомление о том, в чем, в сущности, он должен хранить молчание. Держа бульон в руке и не дав времени старой Марте скользнуть за дверь, Мержи произнес:

— А вы мне так и не сказали, что ваше имя Камилла.

— Камилла? Меня зовут Мартой… Мартой Мишли, сударь, — сказала старуха, подчеркивая удивление от услышанного вопроса.

— Ну, ладно, людям вы говорите, что вас зовут Мартой, а духам вы известны под именем Камиллы.

— Духам… Господи Иисусе! Что вы хотите этим

сказать? — Она широко перекрестилась.

— Ну, полно притворяться передо мной. Я никому не расскажу, все останется между нами. Кто эта дама, интересующаяся моим здоровьем?

— Дама, интересующаяся…

— Ну, полноте, перестаньте повторять мои слова и говорите откровенно. Верьте дворянину, я вас не выдам.

— Но, право же, сударь мой, я не знаю, что вы хотите сказать.

Мержи не мог удержаться от смеха, видя, как она делает удивленный вид и прикладывает руки к сердцу. Он достал золотую монету из кошелька, висевшего над его кроватью, и дал старухе.

— Возьмите, добрая Камилла, вы так обо мне заботитесь, так лихо натираете шпагу скорпионовым бальзамом для моего скорейшего выздоровления, что, по правде сказать, я уже давно должен был бы сделать вам какой-нибудь подарок.

— Увы, благородный господин, ну право же, ну право же, я совсем не понимаю, что вы хотите сказать.

— Ну, чорт вас побери, Марта вы или Камилла, не выводите меня из терпения и отвечайте: кто эта дама, для которой вы прошлой ночью устрои-

ли всю эту чертовщину?

— Ах, спаситель мой, он начинает гневаться... Неужели он сходит с ума?

Мержи в нетерпении схватил подушку и швырнул ее в голову старухи, которая с покорностью подобрала ее и снова положила на постель. Потом подобрала золотую монету, упавшую на пол, и, так как в эту минуту вошел капитан, она освободилась от страха перед новым допросом, который мог окончиться для нее уже несколько неприятно.

Глава тринадцатая
КЛЕВЕТА

***Король Генрих IV**. Ты клевещешь на него, Перси! Ты клевещешь!*

Шекспир, «Король Генрих IV».

Жорж в то же утро отправился к адмиралу, чтобы поговорить с ним о положении своего брата. В двух словах он доложил ему, в чем дело.

Адмирал, слушая его, раздавил зубами зубочистку, бывшую у него в губах, что всегда служило признаком нетерпения.

— Мне уже известна эта история, — сказал он, — и я удивляюсь, что вы мне ее рассказываете после того, как она сделалась уже достоянием общей молвы.

— Если я докучаю вам, господин адмирал, то лишь потому, что мне известно участие, которым вы удостаиваете нашу семью, и я смею надеяться, что вы не откажетесь похлопотать за брата у короля. Вы пользуетесь таким влиянием у его величества.

— Мое влияние, если я действительно его имею, — с живостью перебил адмирал, — мое

влияние основывается на том, что я обращаюсь к его величеству только с законными просьбами.

Произнося эти слова, он почтительно снял шляпу.

— Обстоятельства, принудившие моего брата прибегнуть к вашей доброте, к несчастью, более чем обычны в настоящее время. В прошлом году король подписал свыше полутора тысяч амнистий. А противник Бернара сам неоднократно ограждал себя от наказаний предварительными амнистиями.

— Ваш брат был зачинщиком. Может быть, и мне хотелось бы, чтобы оказалось правдой сообщение, что он последовал чьему-то отвратительному совету.

Произнося эти слова, он проницательно взглянул на капитана.

— Я сделал несколько усилий, чтобы предотвратить роковые последствия ссоры. Но вам самому известно, что господин Коменж никогда не был расположен к другим способам удовлетворения, кроме тех, которые дает острие шпаги. Честь дворянина и мнение дам…

— И вы в таком тоне разговаривали с несчастным молодым человеком? Конечно, если так, то мы, очевидно, сделали бы из него утонченного

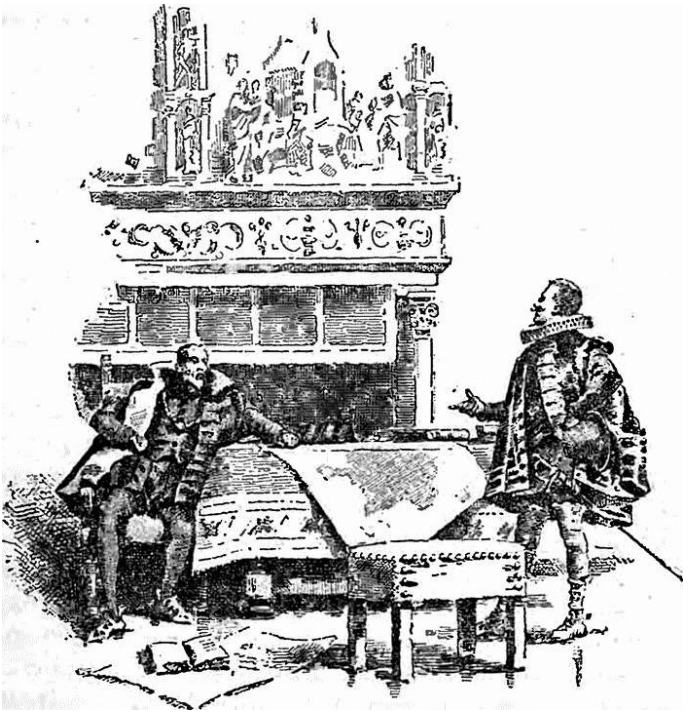
дуэлиста. О, как стал бы жаловаться его отец, узнав, с каким пренебрежением сын отнесся к его советам! Милосердный боже! Еще не прошло двух лет с тех пор, как затихли гражданские войны, а они уже забыли о потоках пролитой ими крови! Им все еще мало. Им необходимо, чтобы дня не проходило без того, чтобы француз зарезал француза.

— Если бы я знал, милостивый государь, что моя просьба будет вам неприятна до такой степени…

— Послушайте, господин Мержи. Как христианин я мог бы сделать насилие над своими чувствами и простить вашему брату сделанный им вызов, но поведение вашего брата на дуэли, последовавшей за вызовом, по слухам, не…

— Что хотите вы сказать, господин адмирал?

— Что поединок велся без соблюдения рыцарских правил: совсем не так, как это принято у французского дворянства.



— А кто осмелился пустить такую отвратитель-

ную клевету? — воскликнул Жорж с глазами, сверкающими от гнева.

— Успокоитесь, вызова вам не придется посылать, потому что с женщинами не дерутся на дуэли... Мать Коменжа представила королю подробности, не делающие чести вашему брату. Ими объясняется то, что весьма опасный противник с легкостью пал под ударами ребенка, едва вышедшего из возраста пажа.

— Скорбь матери это большое и законное чувство, да и можно ли удивляться тому, что ее глаза, наполненные слезами, до сих пор не могут рассмотреть истины. Я льщу себя надеждой, господин адмирал, что ваше суждение о брате вы не станете основывать на изложении событий, сделанном госпожей Коменж.

Колиньи, повидимому, слегка заколебался, и в его голосе несколько смягчилась острота иронической интонации.

— Вы не можете отрицать, тем не менее, что Бевиль, секундант Коменжа, ваш близкий друг?

— Я знаю его с давних пор и даже кое-чем ему обязан, но и Коменж тоже был с ним близок; к тому же Коменж сам избрал его секундантом. В конце концов, храбрость и честность Бевиля ставят его имя вне всякого подозрения в недоб-

росовестности.

Адмирал сжал губы с выражением глубокого презрения.

— Честность Бевиля, — повторил он, пожимая плечами, — Бевиль — атеист, человек, погрязший в беспутстве.

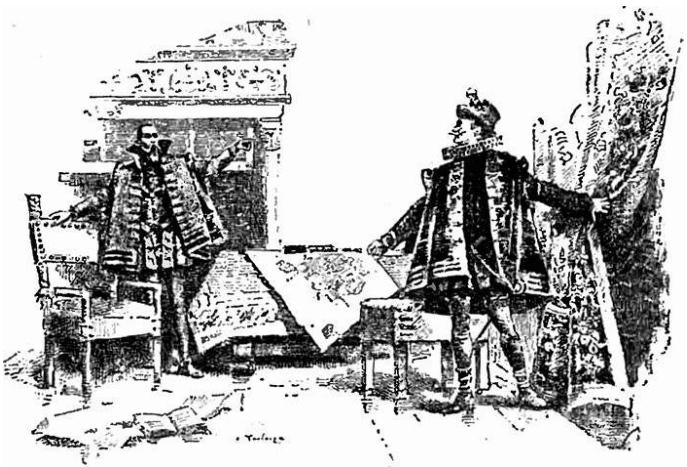
— Нет, Бевиль — человек честный, — воскликнул капитан с силой и выразительностью. — Но я не понимаю, зачем столько разговоров, как будто я сам не присутствовал при дуэли? Вам ли, адмирал, к лицу ставить под сомнение нашу честность и обвинять нас в простом убийстве?

В этих словах звучала угроза. Но Колиньи не понял или пренебрег намеком на убийство герцога Франциска Гиза, которое было приписано ему католической ненавистью. Напротив, черты лица адмирала сделались совершенно спокойными и неподвижными.

— Господин Мержи, — сказал он тоном холодного пренебрежения, — человек, отступивший от веры своих отцов, лишается права говорить о чести, так как никто ему не поверит.

Лицо капитана побагровело. Через минуту густой румянец сменился мертвенной бледностью. Он отступил на два шага, словно для того, чтобы не поддаться искушению ударить старика.

— Сударь, — воскликнул он, — ваш возраст и ваше звание позволяют вам безнаказанно оскорблять бедного дворянина в том, что ему дороже всего на свете, но умоляю вас, прикажите кому-либо из ваших дворян, одному или нескольким, присоединиться к словам, которые вы только что сказали, и клянусь богом, что я сумею вбить им в глотку эти слова так, что они подавятся.



— Конечно, вот признаки поведения утонченного дуэлиста. Но их пример для меня не обязателен, и я выгоню от себя приближенных, которые вздумают им подражать.

Произнеся эти слова, он повернулся спиной к своему гостю. Капитан, затаив ярость в душе, вышел из особняка Шатильона, вскочил на лошадь и, словно для облегчения своего бешеного состояния, погнал бедное животное в карьер, вонзая шпоры ему в бока. В бешеной скачке он едва не передавил множество мирных пешеходов, и было для него большим благополучием не встретить на пути никого из утонченных дуэлистов, ибо в том настроении, которое им овладело, он, несомненно, прицепился бы к случаю и пустил бы в ход свою шпагу.

Только около Венсена бурное клокотание крови стало в нем успокаиваться. Он тронул повод и повернул на дорогу в Париж свою взмыленную до кровавой пены лошадь.

— Бедный друг, — сказал он горько, — я на тебе выместил боль нанесенной мне обиды!

И, потрепав шею этой невинной жертвы, он перевел ее в шаг и вернулся к брату. Ему он просто сообщил, что адмирал отказался хлопотать за него, не вдаваясь и подробности разговора с

адмиралом.

Через несколько минут вошел Бевиль, который прямо бросился на шею Мержи со словами:

— Поздравляю вас, дорогой мой, — вот вам приказ об амнистии. Вы получили его в силу заступничества королевы.

Мержи обнаружил меньше удивления, чем его брат. В глубине души он приписал эту милость даме в вуали, то есть графине Тюржис.

Глава четырнадцатая
СВИДАНИЕ

Сейчас она пройдет по этой зале
И просит, чтобы вы ей слова
два сказали.

Мольер, «Тартюф».

Мержи снова переехал к брату. Он был с выражением благодарности у королевы-матери и снова появился при дворе. Посещая Лувр, он заметил, что каким-то способом унаследовал то боязливое уважение, которое сопровождало Коменжа. Люди, которых он знал только по внешности, почтительно кланялись ему как близкие знакомые. Мужчины, разговаривая с ним, плохо скрывали зависть под маской вежливой предупредительности, а дамы лорнировали его и кокетливо с ним заигрывали, ибо слава дуэлиста в те времена была самым верным способом затронуть женское сердце. Три-четыре человека, убитые на поединке, были достаточны для того, чтобы заменить требование красоты, богатства или ума. Одним словом, когда наш герои снова

появился в галлереях Луврского дворца, он услышал вокруг себя шопот: «Вот молодой Мержи, убивший Коменжа! Как он молод, как строен, до чего он красив с виду. Смотрите, какой молодецкий ус! Известно ли, кто его любовница?»

Но Мержи в это время напрасно искал в толпе синие глаза под черными бровями Тюржис. Он даже явился к ней, но ему сообщили, что вскоре после смерти Коменжа она уехала в одно из своих имений, в двадцати милях от Парижа. Если верить злоязычию, то скорбь, причиненная ей смертью человека, ухаживавшего за нею, принудила ее искать уединенного убежища, где никто не помешал бы ей предаваться тяжелому чувству.

Однажды утром, когда капитан, лежа в кровати, читал, ожидая завтрака, «Весьма ужасную жизнь Пантагрюеля», а брат его под руководством сеньора Уберто Винибеллы брал урок игры на гитаре, слуга доложил Бернару, что в нижней зале его ждет какая-то весьма опрятно одетая старуха, заявившая в очень таинственной форме о своем желании говорить с Бернаром. Он сошел вниз немедленно и принял из сухощавых рук старухи, которая оказалась ни Мартой, ни Камиллой, письмо, разливавшее вокруг себя сладкий

запах. Оно было перевязано золотой нитью и запечатано зеленым воском широкой печатью, изображавшей вместо герба простого амура, приложившего палец к губам. На печати была выгравирована надпись: «Callad»[48]. Он вскрыл пакет и нашел в нем всего лишь одну испанскую строчку, которую он едва понял: «Esta noche, una dama espera a V. M.»[49].

— Кто дал вам это письмо? — спросил он старуху.

— Дама.

— Ее имя?

— Не знаю. Она испанка, судя по ее собственным словам.

— Откуда она меня знает?

Старуха пожала плечами.

— Ваша слава храбреца навлекла на вас это несчастье, — сказала она издевательским тоном. — Но скажите мне прямо: придете вы или нет?

— А куда?

— Вам нужно сегодня вечером в половине девятого быть в церкви Сен-Жермен Оксеруа, в левом

---

[48] Примечания: 48
Кастильский девиз: «Молчи».

[49] Примечания: 49
Нынче ночью некая дама ожидает вашу милость.

приделе храма.

— Так что же, свидание с этой дамой будет происходить в церкви?

— Нет, за вами придут и отведут вас к ней. Но будьте скромны: являйтесь один.

— Хорошо!

— Вы обещаете?

— Даю слово.

— Итак, прощайте. Главное — не ходите за мной следом.

Она отвесила низкий поклон и скрылась.

— Ну, рассказывай, что нужно было от тебя этой почтенной сводне? — спросил капитан, когда брат поднялся наверх, а преподаватель музыка вышел.

— О, ничего, — ответил Мержи с видом безразличия, делая вид, что он рассматривает внимательно мадонну, о которой мы уже сообщили читателю.

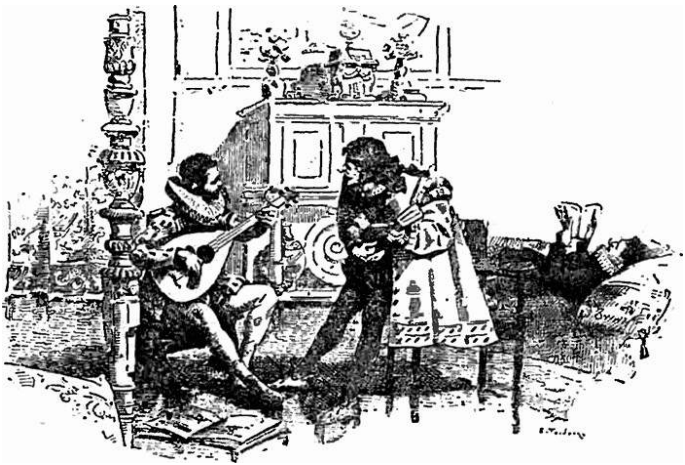
— Перестань секретничать, скажи-ка лучше, быть может, мне проводить тебя на свидание, покараулить на у липе, оттрепать обухом шпаги соперника?

— Это не нужно.

— Ну, как хочешь! Если тебе угодно, храни про себя свою тайну. Но бьюсь об заклад, что тебе

так же хочется рассказать ее мне, как мне ее услышать.

Мержи с рассеянным видом перебирал струны гитары.



— Да, Жорж! Я сегодня вечером не смогу пойти на ужин к Водрейлю.

— А, так значит, это сегодня... Хорошенькая?..

Придворная дама?.. Горожанка?.. Дочь купца?..

— Ну, право же, не знаю. Я должен предстать перед женщиной… чужестранкой, но кто она, — не знаю.

— Но, по крайней мере, тебе известно, где ты должен встретиться с нею?

Бернар показал записку и повторил то, что только что услышал от старухи.

— Почерк изменен, — сказал капитан, — и я не знаю, что подумать об этих предосторожностях.

— Это, вероятно, какая-нибудь дама из общества, Жорж!

— Вот каковы наши молодые люди! По ничтожному поводу они воображают, что самые высокопоставленные дамы готовы повиснуть у них на шее.

— Чувствуешь, какое благоухание исходит от этой записки?

— Ну, так что это доказывает?

Вдруг капитан нахмурил лоб, и ужасная мысль пришла ему в голову.

— Коменжи злопамятны, — произнес он, — и, быть может, эта записка придумана только для того, чтобы устроить тебе западню в уединенном месте и заставить тебя расплатиться дорогой ценой за тот удар кинжала, который сделал их

богатыми наследниками.

— Вот удивительная мысль!

— Не первый раз любовью пользуются как средством осуществления мстительных замыслов. Ты читал библию? Вспомни, как Самсон был предан Далилой.

— Нужно быть совершенным трусом, чтобы ради такой недостоверной догадки я пренебрег свиданием, которое может оказаться прелестным! Какая-то испанка!..

— Ну хоть, по крайней мере, вооружись. Если хочешь, я отпущу с тобою двоих слуг?

— Ну, вот еще, с какой стати делать весь город свидетелем моего счастья.

— Сейчас это очень принято. Сколько раз я видел, как Арделе, мой большой приятель, отправлялся к любовнице в кольчуге и с двумя пистолетами за поясом... А за ним шли четверо солдат из его роты, и каждый имел кинжал. Ты, очевидно, еще не знаешь Парижа, приятель, и поверь мне, что предосторожности никогда не бывают излишними. Ну, а когда приходит во время свидания соответствующая минута и кольчуга начинает мешать, ее, конечно, снимают.

— Я совершенно не тревожусь. Если бы родственники Коменжа затаили что-нибудь против

меня, то что могло бы быть более легким, нежели ночное уличное нападение на меня!

— Ну ладно! Я отпущу тебя только под одним условием, что ты захватишь с собою пистолеты.

— Я согласен, но только это сделает меня смешным.

— Но это еще не все: тебе нужно плотно пообедать, съесть парочку куропаток и пирог с начинкой из петушиного гребня, чтобы с честью поддержать семейную силу Мержи предстоящей ночью.

Бернар ушел к себе в комнату, где он провел по меньшей мере четыре часа, причесываясь, завиваясь, выливая на себя духи и, наконец, упражняясь в произнесении красноречивых фраз, с которыми он предполагал обратиться к прекрасной незнакомке.

Предоставляю читателю судить, явился ли он на свидание в точно назначенное время. Более получаса он расхаживал по церкви. Он успел уже три раза пересчитать все свечи, все колонны и все предметы, принесенные в церковь по обету, когда старая женщина, заботливо закутанная в темный плащ, взяла его за руку и, не промолвив ни слова, вывела его на улицу. В неизменном молчании она после нескольких поворотов при-

вела его в переулок, весьма узкий и имевший вид необитаемого. В самом конце она остановилась перед низкой сводчатой дверкой, очень малого размера, и отперла ее ключом, вынутым из кармана. Старуха вошла первой. Мержи следовал за ней, держась за ее плащ, так как была полная темнота кругом. Едва он вошел, как услышал, что позади задвинулись огромные засовы. Провожатая на ухо шепнула ему, что он находится у подножия лестницы и что ему предстоит подъем на двадцать семь ступеней. Лестница была узкая. Ступени с выбоинами и неровностями, так что он неоднократно оступался, почти падая. Наконец, старуха миновала двадцать седьмую ступень и, встав на маленькую площадку, открыла дверь. Яркий свет на мгновение ослепил Мержи. Он немедленно вошел в комнату, оказавшуюся обставленной с гораздо большим изяществом, нежели можно было бы предположить по внешнему виду здания.

Стены были покрыты узорными коврами, правда, несколько потертыми, но совершенно чистыми. Посреди комнаты Мержи увидел стол, освещенный двумя большими свечами розового воска и заставленный всевозможными фруктами, печениями, стаканами и графинами,

в которых, как ему показалось, сверкали вина разных сортов.

Два больших кресла по краям стола, повидимому, ждали гостей, а в нише, наполовину задернутой шелковым пологом, виднелась роскошная кровать, покрытая кармазинным атласом. Множество курильниц развевали по комнате сладострастные ароматы.

Старуха сняла накидку. Мержи скинул свой плащ. В старухе он тотчас узнал посланницу, приносившую ему письмо.

— Пресвятая богородица! — воскликнула старуха, смотря на пистолеты и шпагу Мержи. — Что же вы думаете, что вам придется пронзать здесь гигантов? Прекрасный мой кавалер, если вы будете наносить здесь удары, то, во всяком случае, иным оружием, а не шпагой.

— Верю охотно, но может случиться, что или братья или супруг войдут в эту комнату в дурном настроении и вздумают помешать нашей беседе, и тогда придется вот этим способом пускать им пыль в глаза.

— Здесь нет основания опасаться чего-либо в этом роде. Но скажите-ка, нравится ли вам эта комната?

— Очень нравится, конечно, но несмотря на

это я буду скучать, если должен буду сидеть в ней один.

— Ну, придет кое-кто, чтобы разделить ваше общество. Но сначала вы дадите мне одно обещание.

— Какое?

— Если вы католик, то присягнете перед распятием (она вынула его из шкафа), если гугенот, вы поклянетесь Кальвином… Лютером, одним словом, всеми вашими богами… наконец…

— Ну, а в чем же я должен поклясться? — прервал он ее со смехом.

— Вы дадите клятву, что никогда не сделаете ни малейшего усилия, чтобы найти или узнать ту даму, которая сейчас войдет сюда.

— Это жестокие условия.

— Смотрите сами. Клянитесь, или я снова уведу нас обратно на улицу.

— Хорошо, даю вам мое слово. Пусть лучше смешные клятвы, чем согласие на ваше предложение.

— Вот это хорошо! Ждите терпеливо. Ешьте, пейте, если хотите. Сейчас придет ваша испанская дама.

Она взяла накидку и вышла, запирая дверь двойным поворотом ключа. Мержи бросился к

креслам. Сердце неистово билось. Все ощущения обострились почти так же сильно, как несколько дней назад на Пре-о-Клер в минуту встречи с противником.

В доме царила глубокая тишина. Прошли мучительные четверть часа, в течение которых воображение рисовало ему поочередно то Венеру, выходящую из-за комнатных ковров, чтобы броситься в его объятия, то графиню Тюржис в охотничьем костюме, то принцессу королевской крови, то шайку убийц и, наконец, самая ужасающая мысль — влюбленную старуху.

Совершенно внезапно, без малейшего шума, возвещавшего чей-либо приход, дверной ключ быстро повернулся в замке, дверь открылась и закрылась мгновенно, словно сама собой, как только женщина в маске появилась на пороге.

Она была высока и стройна. Платье, стянутое в талии, обрисовывало изящнейшую фигуру, но ни по маленькой ножке в туфле из белого бархата, ни по маленькой руке, к несчастью, затянутой вышитой перчаткой, невозможно было догадаться о возрасте незнакомки. Но что-то неуловимое, что-то подобное магнетическому излучению или, если хотите, предчувствие заставляло думать, что ей не больше двадцати пяти лет. Ее одежда была

богата, изысканна и проста в одно и то же время.

Мержи встал ей навстречу и опустился на одно колено. Дама сделала шаг и произнесла нежным голосом:

— Dios es guarda, caballero. Sea Vuestra Mersed el bien Venido.[50]

Мержи сделал жест удивления:

— Habla Vuestra Mersed espanol?[51]

По-испански Мержи не говорил и понимал этот язык с трудом.

Дама казалась смущенной, она разрешила подвести себя к креслу, которое заняла, пригласив Мержи занять другое. Потом начала говорить по-французски и с сильным иностранным акцентом, который то был очень заметен, словно подчеркнут, а то совсем исчезал.

— Сударь, ваша огромная храбрость заставила меня забыть о сдержанности моего пола. Я жаждала совершенного рыцаря, и вот я вижу его перед собой именно таким, каким изображала его молва.

Мержи покраснел и поклонился.

— Неужели, сударыня, вы будете настолько же-

---

[50] Примечания: 50
Бог да хранит кавалера. Добро пожаловать, ваша милость!

[51] Примечания: 51
Говорите ли вы по-испански?

стокой, что оставите эту маску, которая, словно завистливая туча, прячет мое солнце. (Мержи выхватил эту фразу на память из какой-то книги, переведенной с испанского.)

— Сеньор, если я останусь удовлетворена вашей скромностью, вы не однажды увидите меня с открытым лицом. Но на сегодня ограничьте себя удовольствием беседовать со мной.

— Ах, сударыня, как бы ни велико было удовольствие слушать вас, но оно только усиливает страстное желание видеть вас.

Он опустился на колени и, казалось, собрался снять с нее маску.

— Росо а росо.[52] Не так скоро, господин француз. Сядьте на место, иначе я сейчас же вас оставлю. Если б вы знали, кто я и чем я рискую, имея свидание с вами, вы удовлетворились бы той честью, что я оказываю вам, явившись сюда.

— Вы знаете, я, кажется, слышал уже этот голос.

— А между тем сейчас вы его слышите в первый раз. Скажите мне: способны ли вы любить с постоянством женщину, которая вас полюбила бы?

— Я уже чувствую около вас…

---

[52] Примечания: 52
Мало-помалу.

— Вы меня никогда не видели, значит, вы не можете меня любить. Разве вы знаете, хороша я или безобразна?

— Я уверен, что вы восхитительны.

Незнакомка отдернула руку, которою он уже завладел, и поднесла ее к маске, словно с намерением снять.



— Что сделали бы вы сейчас, если бы перед вами оказалась пятидесятилетняя женщина, безобразная до ужаса?

— Это невероятно!

— И в пятьдесят лет еще способны любить (она вздохнула, а молодой человек вздрогнул).

— Эта изящная фигура, эта рука, которую вы напрасно стараетесь вырвать у меня, — все это доказательство вашей молодости.

— В вашей фразе больше любезности, чем убежденности.

— Увы!

Мержи стал испытывать некоторое беспокойство.

— Вам, мужчинам, недостаточно любви, вам нужна еще красота (она опять вздохнула).

— Позвольте мне… Умоляю… снять эту маску…

— Нет, нет! — Она с живостью оттолкнула его. — Вспомните вашу клятву. — Затем она заговорила, развеселившись: — Мне приятно видеть вас у моих ног, а если случайно я оказалась бы немолода и некрасива… по крайней мере, на ваш взгляд, вы, быть может, оставили б меня моему одиночеству.

— Покажите мне, по крайней мере, вашу ручку.

Она сняла надушенную перчатку и протянула ему руку, белую, как снег.

— Мне знакома эта рука, — воскликнул он. — Нет такой другой руки в Париже!

— Правда? И чья же эта рука?

— Одной… графини.

— Какой?

— Графини Тюржис.

— А! я знаю, что вы хотите сказать. Конечно, у Тюржис красивые руки, благодаря миндальным притираниям ее парфюмера, но я горжусь тем, что мои руки нежнее ее.

Все это было сказано таким естественным тоном, что Мержи, которому одно мгновение казалось, что он узнал голос графини, вновь почувствовал сомнение, и в результате он решил совсем расстаться с этой догадкой.

«Две вместо одной! — подумал он. — Ну, что же, значит, мне покровительствуют феи». Он старался на этой прекрасной руке найти знак от перстня, который видел у Тюржис, но на этих прекрасных, очаровательных, закругленных пальцах не было ни малейшего следа, ни малейшего оттиска.

— Тюржис! — воскликнула незнакомка со смехом. — Право, я вам очень обязана за то, что

вы принимаете меня за Тюржис. Благодарение господу, я как будто стою несколько большего!

— Клянусь честью, графиня — красивейшая из всех, кого я видел до сегодня.

— Значит, вы в нее влюбились? — спросила она с живостью.

— Быть может. Но, прошу вас, снимите маску и дайте мне увидеть женщину, более красивую, чем Тюржис.

— Когда я удостоверюсь, что вы меня любите, только тогда вы увидите меня с открытым лицом.

— Любить вас, но, чорт меня возьми, как я могу любить, не видя?

— Эта рука очень красива; представьте себе, что мое лицо находится в полном соответствии с нею.

— Ну, теперь я знаю, что вы восхитительны, потому что вы окончательно выдали себя: вы забыли изменить голос. Я узнал его, наверное узнал.

— И это голос Тюржис? — спросила она с отчетливым испанским акцентом.

— Да, конечно.

— Ошибка, жестокая ваша ошибка, господни Бернар. Мое имя Мария… донья Мария де… я вам

потом скажу мое имя. Я дворянка из Барселоны. Мои отец, держащий меня под суровым надзором, недавно отправился в путешествие. Я пользуюсь его отсутствием, чтобы развлечься и взглянуть на парижский двор. Что касается Тюржис, то, прошу вас, не произносите при мне имя этой ненавистной женщины. Она кажется мне самым злым существом двора. Кстати, вы знаете, как она овдовела?

— Да, мне что-то говорили.

— Ну, и что же вам говорили? Расскажите.

— Застав мужа, чересчур нежно говорящего с камеристкой, она схватила кинжал и ударила его несколько грубовато. Бедняга умер через месяц.

— Поступок этот вам кажется ужасным?

— Должен признаться, что я его оправдываю. Она любила мужа, как говорят, а я уважаю ревность.

— Вы говорите так, предполагая, что перед вами Тюржис; но я уверена, что в глубине души вы ее презираете.

В голосе было что-то горькое и грустное, но на этот раз это не был голос Тюржис. Мержи терялся в мыслях.

— Как? — спросил он. — Вы — испанка и не имеете уважения к чувству ревности?

— Оставим этот разговор. Что за черная лента у вас на шее?

— Ладанка.

— А я думала, что вы из стада колласской коровы[53].

— Это правда, но я получил ее от женщины и ношу как память.

— Стоите! Если вы хотите мне нравиться, вы больше не будете думать ни о каких дамах. Я хочу быть для вас всеми женщинами сразу. Откуда эта память? Опять от Тюржис?

— Нет, право же, нет.

— Вы лжете.

— Значит, вы Тюржис.

— Я вас предам, сеньор Бернардо.

— Чем?

— Когда я увижу Тюржис, я спрошу у нее: как смеет она совершать кощунство, давая священные предметы еретику?

Неуверенность Мержи росла с каждой минутой.

— Но я требую отдачи этой памятки. Дайте ее мне.

— Нет, я не могу дать вам ее.

---

[53] Примечания: 53

Прозвище, данное протестантам.

Примечание переводчика.

— Я так хочу, неужели вы смеете мне отказать?

— Я обещал ее возвратить.

— Вот еще, что за ребячество эти обещания! Клятва, данная *лживой* женщине, может быть нарушена, а кроме того, будьте настороже. Может оказаться, что вы носите какой-нибудь опасный талисман. Говорят, Тюржис страшная колдунья.

— В колдовство я не верю.

— И не верите в магиков?

— Я верю немного в магическую женщину. — Он сделал ударение на слове «женщина».

— Послушайте, дайте мне эту ладанку, и тогда, быть может, я скину маску.

— Поймал. Это голос Тюржис!

— Спрашиваю в последний раз: дадите ли вы мне эту ладанку?

— Я вам ее верну, если маска будет снята.

— Ах, вы выводите меня из терпения с вашей Тюржис. Любите ее сколько вам угодно, какое мне до всего этого дело? — Она повернулась в кресле с видом возмущения. Атлас, покрывавший ее грудь, возбужденно поднимался и опускался. Несколько минут она хранила молчание. Потом, внезапно повернувшись, она произнесла насмешливым голосом:

— Vala me Dios! Vuestra Mersed no es caballero, es un monge.[54]

Ударом кулака она опрокинула сразу обе горящие свечи на стол и половину бутылок и блюд. Свет мгновенно погас. В ту же минуту она сорвала с себя маску. В полной темноте Мержи почувствовал, как чьи-то пылающие губы отыскивают его губы и две руки с силой сжимают его в объятиях.

[54] Примечания: 54
Прости меня, господи, но ваша милость совсем не кавалер, а монах.

Глава пятнадцатая
ВО МРАКЕ

Ночью все кошки серы!

Часы на колокольне соседней церкви пробили четыре удара.

— Иисус, четыре часа. Я едва успею вернуться домой до рассвета.

— Как, злодейка, бросать меня так рано?

— Так надо. Но мы увидимся скоро опять.

— Мы увидимся. Хорошо сказано. Но ведь подумайте, дорогая графиня, что я не видел вас.

— Бросьте вашу графиню. Вы совершенное дитя. Меня зовут донья Мария, и, когда я зажгу свет, вы увидите, что я не та, за кого вы меня приняли.

— С какой стороны дверь? Я сейчас кликну кого-нибудь.

— Не надо. Дайте мне встать, Бернардо! Я знаю эту комнату и знаю, где лежит огниво.

— Осторожно, не наступите на осколки и черепки, это вчерашнее дело ваших рук.

— Я все знаю.

— Отыскали?

— Ах, да! это мой корсет. Святая дева! как же мне быть, я второпях все шнурки перерезала вашим кинжалом.

— Надо спросить у старухи.

— Не шевелитесь. Все сделаю сама. Adios, quierido Bernardo![55]

Дверь открылась и мгновенно захлопнулась. Громкий хохот раздался снаружи. Мержи догадался, что его добыча ускользнула. Он сделал попытку преследования, но в темноте натыкался на мебель, путался в платьях и занавесках и все не мог найти двери. Вдруг она открылась, кто-то вошел с потайным фонарем. Мержи сейчас же схватил в объятия вошедшую.

— Ну, вот попалась! Теперь не ускользнете, — восклицал он, осыпая ее нежными поцелуями.

— Отстаньте же от меня, господин Мержи, — произнес грубый голос, — разве можно этак тискать людей?

Он узнал старуху.

— Чорт бы тебя подрал! — закричал он.

Молча одевшись, взяв оружие и плащ, он вышел из дому в таком состоянии, как человек, который после стакана превосходной малаги

---

[55] Примечания: 55

Прощай, милый Бернард! (*исп.*)

Примечание переводчика.

хватил, обознавшись, у своего слуги добрый глоток противоцынготной микстуры, долгие годы стоявшей позабытой в погребе.

Мержи проявил большую сдержанность, разговаривая с братом о происшествии. Он говорил об испанской даме редкостной красоты, насколько он мог убедиться в этом без освещения, но не сказал ни слова о своих подозрениях относительно того, кто была эта дама, тщательно скрывавшая свое прошлое.

Глава шестнадцатая
ПРИЗНАНИЕ

***Амфитрион**. Ах, умоляю вас, Алкмена, бросим шутки, я вас прошу. Поговорим серьезно.*

Мольер, «Амфитрион».

Два дня прошло без всяких вестей от мнимой испанки. На третий день братья узнали, что госпожа Тюржис накануне вернулась и непременно явится ко двору королевы-матери засвидетельствовать свое почтение в этот день. Они немедленно направились в Лувр и нашли её в галлерее, окруженной дамами, с которыми она вела непринужденный разговор. Появление Мержи, казалось, не вызвало у нее никакого волнения. На ее бледном лице не появилось даже легкого румянца. Как только она его заметила, она кивнула ему головой как старому знакомому и после первых приветствий наклонилась к нему и сказала на ухо:

— Теперь, я надеюсь, что ваше упрямство гугенота несколько поколебалось. Необходимы были чудеса для того, чтобы вас обратить.

— Как это?

— Что? Разве вы не испытали на себе самом чудесную силу мощей?

Мержи улыбнулся с видом лукавого неверия.

— Воспоминания о прекрасной руке, давшей мне эту маленькую коробку и любовь, внушенную мне, удвоили мою силу и ловкость.

Смеясь, она погрозила ему пальцем.

— Вы становитесь дерзким, господин корнет. Знаете ли вы, с кем вы распускаете так язык?



С этими словами она сняла перчатку, чтобы оправить волосы, и Мержи пристально смотрел на руку, переводя глаза от руки на оживленные и почти злые глаза прекрасной графини. Удивленный вид молодого человека вызвал у нее смех.

— Что вас смешит?

— А почему вы смотрите на меня с таким удивленным видом?

— Простите меня, но в последние дни со мной случаются вещи, которым можно только удивляться.

— В самом деле? Должно быть, это интересно. Расскажите-ка нам поскорее что-нибудь из тех вещей, которые с вами случаются ежеминутно.

— Я не могу говорить о них сейчас и в этом месте. К тому же я запомнил некий испанский девиз, который я узнал три дня назад.

— Какой девиз?

— Одно только слово: «Callad».

— А что же это значит?

— Как, вы не знаете испанского языка? — сказал он, наблюдая ее с возрастающим вниманием. Но она выдержала испытание, не обнаруживая понимания скрытого смысла того, что говорил ей молодой человек, так что он, вначале проницательно смотревший в ее глаза, вскоре отвел свой

взгляд под влиянием вынужденного признания превосходной силы тех, которым он осмелился сделать вызов.

— В детском возрасте, — говорила она с полным безразличием, — я знала несколько испанских слов, но, думается мне, что я их теперь уже забыла, поэтому говорите со мной по-французски, если хотите, чтобы я вас понимала. Ну, что же проповедует ваш девиз?

— Он советует быть скромным на язык, сударыня.

— Клянусь честью, наши молодые придворные должны принять этот девиз, в особенности, если они смогут достичь желанного конца и оправдать результаты своего поведения. Но вы прямо ученый, господин Мержи! Кто учил вас испанскому языку? Бьюсь об заклад, что это женщина.

Мержи взглянул на нее нежно и с улыбкой.

— Мне известно всего лишь несколько испанских слов, — сказал он тихо, но в моей памяти их запечатлела любовь.

— Любовь… — повторила графиня тоном насмешницы.

И так как она говорила громче, то многие дамы повернули головы, услышав это слово, словно желая спросить, в чем тут дело. Мержи, слегка

уколотый этой насмешкой и недовольный таким способом обращения, достал из кармана испанскую записку, полученную недавно, и подал ее графине.

— Я нисколько не сомневаюсь, — сказал он, — что вы знаете не меньше моего и что для вас не составит труда понять этот испанский язык.

Диана де-Тюржис схватила записку, прочитала ее или сделала вид, что прочитала, и, смеясь изо всех сил, передала ее женщине, стоявшей рядом.

— Посмотрите, Шатовье, — сказала она, — прочтите это любовное послание, только что полученное господином Мержи от дамы его сердца, которую, по его словам, он хочет принести мне в жертву. Забавнее всего, что почерк записки мне известен.

— Вот в этом я нисколько не сомневаюсь, — сказал Мержи с некоторой горечью, но не повышая тона.

Госпожа Шатовье прочла записку, расхохоталась и передала ее стоящему рядом кавалеру, тот — другому, и через минуту в галлерее не было ни одного человека, который не узнал бы, что некая испанская дама дарит Мержи свое прекрасное отношение.

Когда немного утихли взрывы хохота, графиня

насмешливо спросила Мержи: находит ли он красивой женщину, написавшую эту записку.

— Клянусь честью, сударыня, она не менее красива, чем вы.

— О, небо, что вы говорите? Иисус! очевидно, вы видели ее только ночью, ведь я же хорошо знаю, что она… Но, ей-богу… право же, могу поздравить вас с удачей… — и она залилась громким, раскатистым смехом.

— Милая женщина, — сказала Шатовье, — да назовите же нам эту даму-испанку, счастливую обладательницу сердца господина Мержи.

— Прежде чем назвать ее, я прошу вас объявить в присутствии этих дам, видели ли вы хоть раз вашу возлюбленную среди бела дня.

Мержи положительно стало не по себе. Его беспокойство и смущение отразились довольно смехотворно на его лице, он ничего не отвечал.

— Довольно тайн, — сказала графиня, — эта любовная записка написана доньей Марией Родригес. Я знаю ее почерк, как почерк моего отца.

— Мария Родригес, — закричали со смехом все женщины.

Мария Родригес была особой в возрасте свыше пятидесяти лет. Это была мадридская дуэнья. Не знаю, за какие заслуги Маргарита Валуа взяла ее

к себе в дом, после того как Мария приехала во Францию. Возможно, что она держала при себе эту образину, чтобы по контрасту на ее фоне ее собственное очарование было еще более разительным, давая то же впечатление, что полотна художника, изображающие красавиц тех времен рядом с карикатурным уродством их шутов-карликов. Когда Родригес появлялась в Луврском дворце, она смешила всех женщин двора своим напыщенным видом и старомодными платьями.

Мержи затрепетал. Он видел дуэнью однажды и с ужасом вспоминал, как дама в маске назвала себя Марией. Воспоминания в нем перепутались. Он совершенно был сбит с толку. А смех кругом все усиливался.

— Это очень скромная дама, — заговорила графиня Тюржис, — и вы не могли сделать лучшего выбора. У нее совсем не плохой вид, когда она вложит вставную челюсть и наденет черный парик. К тому же ей, конечно, не больше шестидесяти лет.

— Она сглазила его, — воскликнула Шатовье.

— Вы любите древности? — спросила другая дама.

— Какая жалость, — с тихим вздохом говорила молоденькая фрейлина королевы, — какая

жалость, что у мужчин бывают такие смешные причуды!

Мержи защищался, как мог. Иронические поздравления сыпались на него дождем. Он был в невероятно глупом положении. По тут внезапно в конце галлереи показался король, и мгновенно остановились смех и шутки. Каждый старательно поспешил сойти с королевского пути, и глубокое молчание сменило шум.

Король провожал адмирала после долгой беседы в своем кабинете. Он дружески опирался на плечо Колиньи, черная одежда которого и седая борода резко контрастировали с молодостью Карла, одетого в блестящее вышитое платье.

Глядя на них обоих, можно было сказать, что юный король с проницательностью, редкой для людей, сидящих на тропе, избрал себе в любимцы самого добродетельного и мудрейшего из своих подданных.

Пока оба проходили по галлерее и все взгляды были устремлены на них, Мержи услышал совсем над ухом голос графини, шепнувшей тихонько:

— Не будьте злопамятны. Держите! Раскройте только тогда, когда выйдете на улицу.

В ту же минуту что-то упало ему в шляпу, бывшую у него в руках. Это был запечатанный пакет

с чем-то твердым внутри.



Он спрятал его в карман и через четверть часа, как только вышел из Лувра, он открыл его и увидел маленький ключ и записку: «Это ключ

от моей садовой калитки. Нынче ночью в десять часов. Я люблю вас! Маска больше не спрячет меня от вас, и вы увидите, наконец, донью Марию и Диану».

Король проводил адмирала до конца галлереи.

— Прощайте, отец мои, — говорил он, пожимая ему руки. — Вы знаете, как я люблю вас, а я знаю, как вы преданы мне всей душей, всем телом, всей вашей требухой и всеми вашими потрохами.

Король сопровождал эту фразу громким взрывом хохота. Потом, вернувшись к себе в кабинет, он стал перед капиталом Жоржем и сказал:

— Завтра, после обедни, вы придете ко мне в кабинет для разговора.

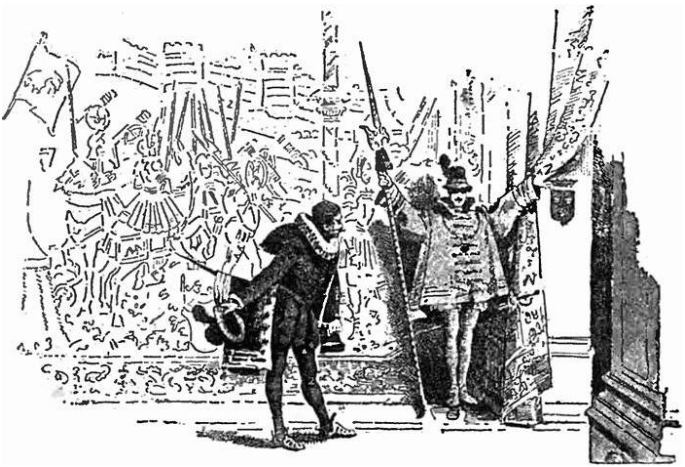
Он оглянулся и бросил слегка встревоженный взгляд на дверь, из которой только что вышел Колиньи, затем миновал галлерею и заперся с маршалом Рецом.

Глава семнадцатая
ЧАСТНАЯ АУДИЕНЦИЯ

Макбет. *Так, неужели, терпение вы считаете превыше всех чувств, — что сносите все это?*

Шекспир, «Макбет».

Капитан Жорж явился в Лувр в назначенный час. Тотчас же, назвав свое имя привратнику, он был допущен в кабинет короля, минуя ковровую завесу, приподнятую рукой привратника. Государь, сидевший у маленького стола и собиравшийся писать, сделал ему знак рукой, предписывающий спокойствие, словно боялся произнесением слов оборвать нити мыслей, занимавших его голову.



Капитан в почтительной позе остановился в шести шагах от стола и имел время, таким образом, осмотреться в комнате и ознакомиться с подробностями украшавшей ее обстановки.

Она была очень проста. Ее украшали почти сплошь охотничьи принадлежности, беспорядочно расположенные по стенам.

Довольно хорошая картина, изображавшая

деву Марию, украшенная большой веткой букса, висела между длинной пищалью и охотничьим рогом. Стол, за которым монарх писал, был покрыт бумагой и книгами. На полу лежали четки, маленький часослов в одной куче с сетками и с соколиными колокольцами. Огромная борзая спала на подушке рядом.

Внезапно король с бешенством швырнул перо на землю, и крупное ругательство вылетело у него из уст. Поникнув головой, он раза два или три прошелся вдоль кабинета неровным шагом, потом, неожиданно остановившись перед капитаном, бросил на него растерянный взгляд, словно увидел его в первый раз.

— Ах, это вы! — сказал он, делая несколько шагов назад.

Капитан низко поклонился.

— Рад вас видеть. Мне нужно было говорить с вами, но…

Он остановился.

Жорж стоял, ожидая окончания фразы, полуоткрыв рот, вытянув шею, выставив вперед левую ногу, — одним словом, в такой позе, какую художник, по моему мнению, должен был бы придать фигуре, олицетворяющей внимание. Но король снова опустил голову на грудь и, казалось, мыс-

лями был за сто миль от того, что секунду перед тем намеревался сказать.

Наступило минутное молчание. Король присел и провел рукой по лбу с выражением усталости.

— Проклятая рифма! — воскликнул он, топнув ногой и звеня длинными шпорами высоких сапог.

Борзая проснулась и, приняв этот удар ногой за обращенный к ней зов, вскочила, подойдя к королевскому креслу, положила обе лапы на колени королю и, подняв свою продолговатую морду, так что ее голова оказалась выше головы Карла, широко разинула пасть и бесцеремонно зевнула, — вот до какой степени трудно привить собаке дворцовые манеры!

Король прогнал собаку, и она со вздохом отошла, чтобы лечь на старое место. Глаза короля как бы нечаянно встретились с глазами капитана. Король сказал:

— Простите меня, Жорж; эта рифма вогнала меня в испарину.

— Может быть, я мешаю вашему величеству? — сказал капитан с глубоким поклоном.

— Нисколько, нисколько, — ответил король.

Он встал и дружелюбно положил руку на плечо капитана. При этом он улыбался, но улыбался

только губами. Рассеянные глаза не принимали в этом никакого участия.

— Отдохнули вы после этой охоты? — спросил король, очевидно, затрудняясь прямо приступить к делу. — Олень не сдавался очень долго.

— Государь, я был бы недостоин командовать легкоконным эскадроном вашего величества, если бы рейд, совершенный третьего дня, мог меня утомить. Во время последних войн господин Гиз, видевший меня не иначе, как в седле все время, дал мне прозвище «албанца».

— Да, мне в самом деле говорили, что ты прекрасный наездник. Но скажи, умеешь ли ты стрелять без промаха из пищали?

— Но, ваше величество, я умею обращаться с пищалью; однако, я не могу равняться в этом искусстве с вами, государь. Не всем же дано это искусство в такой мере!

— Подожди, видишь ты эту длинную пищаль? Заложи в нее двенадцать картечей; будь я проклят, если ты не всадишь их одним зарядом в грудь какому-нибудь басурману, которого ты возьмешь на прицел шестидесяти шагов.

— Шестьдесят шагов — расстояние большое. Я не хотел бы делать опыт в присутствии такого стрелка, как ваше величество.

— Эта пищаль может загнать в человеческое тело пулю и на двести шагов, лишь бы пуля была по калибру.

Король вложил пищаль в руки капитана.

— Очевидно, она бьет так же хорошо, как хороши ее украшения, — сказал Жорж, осматривая пищаль со всех сторон и пробуя спускать курок.

— Я вижу, ты знаешь толк в оружии, молодчина! А ну, прицелься-ка, чтобы я посмотрел, как ты это делаешь.

Капитан исполнил.

— Прекрасная вещь — пищаль, — продолжал Карл, медленно выговаривая слова. — На сто шагов вот этаким нажимом пальца без промаха можно убрать с дороги врага, ни кольчуга, ни панцырь не устоят перед добрым зарядом.

Как мы уже говорили, Карл IX не то в силу привычки, уцелевшей с детства, не то в силу прирожденной трусости, почти никогда не смотрел в лицо собеседнику. На этот раз, однако, он взглянул капитану в лицо с пристальным и очень странным выражением. Жорж невольно опустил глаза, и король сделал то же самое. Еще раз наступило молчание; Жорж его нарушил.

— Какая б ни была искусная ловкость человека, стреляющего огненным боем, но все-таки копье

и шпага вернее.

— Это так. Но, знаешь ли, пищаль…

Карл странно улыбнулся и мгновенно продолжал:

— Я слышал, Жорж, что адмирал жестоко оскорбил тебя?

— Государь…

— Я знаю, знаю. Я уверен в этом! Но сердечно был бы рад… Мне очень хочется, чтобы ты сам рассказал мне эту историю.

— Это правда, государь. Я имел с ним разговор по поводу одного злополучного дела, в исходе которого я был крайне заинтересован.

— По поводу дуэли брата? Чорт побери, красивый парень, умеющий проткнуть кого нужно. Уважаю его! Коменж — это фат, он получил то, что заслужил, но в чем, раздери меня черти, в чем эта старая сивая борода могла найти повод для того, чтобы с тобой поссориться?

— Боюсь, что поводом было наше злополучное разноверие и моя перемена вероисповедания, о которой, я думал, уже забыли…

— Забыли?

— По крайней мере, вы, ваше величество, дали пример забвения религиозных разногласий, и ваша беспристрастная справедливость…

— Знай, приятель, что адмирал ничего не забывает.

— Я заметил это, государь, — и лицо Жоржа снова омрачилось.

— Ну, скажи мне, Жорж, каковы твои намерения?

— Мои, государь?

— Да, говори откровенно.

— Государь, в глазах адмирала я — бедный дворянин, а в моих глазах адмирал — старик, которому я не могу послать вызов, и кроме того, государь, — сказал он с поклоном, стараясь придать придворной фразе такую форму, которая, по его мнению, должна была смягчить дерзкий смысл его слов, — если б я имел возможность это сделать, я побоялся бы таким поступком потерять доброе расположено вашего величества.

— Ба! — воскликнул король и тяжело опустил правую руку на плечо Жоржа.

— К счастью, — продолжал капитал, — моя честь не зависит от адмирала, а если бы кто-нибудь из равных мне по положению осмелился усомниться в ней, то я просил бы ваше величество позволить мне…

— Так, значит, ты не будешь мстить адмиралу? А тем временем, он… становится бешеным

наглецом.

Жорж от удивления широко раскрыл глаза.

— Однако, ведь он тебя жестоко оскорбил, чорт меня подери, — продолжал король, — вот, говорят… дворянин не лакей… ведь есть вещи, которых нельзя перенести даже от государя.

— Какие же у меня средства для мести адмиралу? Ведь ясно, что он найдет ниже своего достоинства драться со мной.

— Это возможно. Но… — король взял в руки пищаль и приложился щекой к прикладу. — Ты меня понимаешь?

Капитан отступил на два шага. Жест короля был достаточно ясен, а дьявольское выражение лица давало ему чрезмерную понятность.

— Как, ваше величество, вы советуете мне…

Король сильно стукнул прикладом пищали об пол и закричал, смотря на капитана свирепыми глазами:

— Тебе советовать? Клянусь божьим чревом, я тебе не советчик!

Капитан не знал, что отвечать. Он сделал так, как поступило бы большинство на его месте: наклонил голову и опустил глаза.

Карл заговорил несколько мягче:

— Это вовсе не значит, что если бы ты закатил

ему хороший пищальный заряд... ну, для восстановления твоей чести... это не значит, что я отнесся бы к этому безразлично... Нет, клянусь требухой святейшего отца, нет! Для дворянина нет ничего драгоценнее его чести, и не может быть ни одного поступка, которого он не совершил бы для ее восстановления. К тому же, эти Шатильоны надменны и наглы, словно холопы палача. Знаю я этих негодяев! Они свернули бы мне шею и сели бы на мой трон... Когда я смотрю на адмирала, я зачастую чувствую, как меня разбирает желание выщипать ему по клочьям всю бороду.

Капитан не мог ответить ни одного слова на этот словесный поток у человека обычно несловоохотливого.

— Ну, пропадай моя голова, что ты намерен делать? Знаешь, я на твоем месте подстерег бы его выход со своей... проповеди и потом из какого-нибудь окна пустил бы ему крепкий заряд пищали в поясницу. Ей-богу, мой двоюродный братец Гиз был бы тебе чрезвычайно признателен, и ты оказал бы большое содействие водворению мира в королевстве. Ты знаешь, что этот проклятый нехристь гораздо больший король Франции, чем я. Это доводит меня до точки... Я говорю тебе на-

чистоту все, что я думаю… Надо проучить этого… чтобы он не осмелился больше делать наскоки на дворянскую честь. Покушение на честь — покушение на жизнь, за одно платит другое.

— Убийство не заштопает чести, а порвет ее еще больше.

Такой ответ поразил короля, как громом. Оцепенев, с пищалью в руках, протянутой как оружие предполагаемой мести, король стоял с побледневшими губами, полуоткрыв рот, а глаза так пристально смотрели на Жоржа, что казались и завороженными и завораживающими.

Наконец, пищаль выпала из дрожащих рук короля и брякнула об пол. Капитан поспешно поднял ее, а король сел на кресло, мрачно опустив голову. Быстрое движение губ и бровей говорило о том, что в нем происходит борьба, захватившая его до глубины сердца.

— Капитан, — спросил он после долгого молчания, — где стоит твои легкоконный эскадрон?

— В Мо, государь.

— Через несколько дней ты с ним соединишься и приведешь сам его в Париж. Через… несколько дней ты получишь приказ. Прощай!

В голосе был оттенок жестокости и гнева. Капитан отвесил глубокий поклон. И Карл, указывая

рукой на дверь кабинета, дал знак, что аудиенция кончилась.

Капитан согласно этикету выходил пятясь и отвешивая поклоны, когда король, стремительно вскочив, схватил его за руку:

— Никому ни звука, по крайней мере, ты понял?

Жорж поклонился еще раз и положил руку на грудь.

Когда он выходил из покоев, он услышал, как король жестким голосом крикнул собаку и щелкнул арапником, словно собираясь сорвать свое дурное настроение на ни в чем неповинном животном.

Вернувшись к себе, Жорж быстро написал и отправил следующую записку адмиралу: «Некто, не имеющий любви к вам, но любящий честь, приглашает вас не верить герцогу Гизу, а быть может, не доверять лицу, гораздо более могущественному. Ваша жизнь под угрозой».

Это письмо не оказало никакого действия на неустрашимую душу Колиньи. Известно, что немного времени спустя, 22 августа 1572 года, он был ранен выстрелом из пищали злоумышленником, по имени Морвель, получившим по этому случаю прозвище «королевского убийцы».

Глава восемнадцатая
ОГЛАШЕННЫЕ

Приятно изучать чужой язык
Посредством глаз и губок милой. Надо
Притом, чтоб были юны ученик
И ментор. О, тогда урок — отрада!

Лорд Байрон, «Дон-Жуан». песнь 2-я. [56]

Когда любовники скромны и осторожны, то зачастую случается, что раньше чем через неделю общество не в состоянии бывает проникнуть в их отношения. После этого срока благоразумие ослабевает, предосторожности кажутся смешными; быстрый взгляд легко заметить, еще легче истолковать, и вот уже тайна открыта.

Подобным же образом связь графини Тюржис и молодого Мержи скоро перестала быть секретом для двора Екатерины. Масса очевидных дока-

---

[56] Примечания: 56

Перевод П. А. Козлова. Все прочие переводы сделаны мною.
Примечание переводчика.

зательств могла бы открыть глаза слепым; так, например, госпожа Тюржис носила обычно ленты сиреневого цвета, и такие же банты появились на шпаге Бернара, на его камзоле и на башмаках. Графиня довольно открыто заявляла о том, что бородатые подбородки внушают ей ужас, но что красивые усы ей нравятся. И вот с некоторых пор подбородок Мержи оказался тщательно выбритым, а его усы, отчаянно завитые, напомаженные и расчесанные свинцовым гребнем, образовывали подковообразную форму, концы которой поднимались значительно выше носа. Наконец, дело дошло до того, что начали рассказывать, что некто, выйдя из дому ранним утром и пересекая улицу Ассис, видел, как садовая калитка дома графини отворилась и оттуда вышел человек, в котором, несмотря на плащ, окутывавший его до самого носа, удалось без труда узнать сеньора Мержи.

Но всего больше убеждало и наталкивало на удивительное заключение то обстоятельство, что молодой гугенот, этот насмешник, безжалостно издевавшийся над всеми обрядами католического культа, теперь сделался усердным посетителем храма, не пропуская почти ни одной процессии и даже окуная пальцы в святую воду, что всего

несколько дней назад сам рассматривал как ужаснейшее кощунство. На ухо шептали, что Диана скоро приведет к господу богу некую душу и что даже молодые дворяне, приверженцы протестантизма, стали заявлять, что они самым серьезным образом вознамерились бы обратиться в католичество, если бы вместо францисканских монахов и капуцинов им в наставники посылали бы молодых и красивых проповедниц, вроде госпожи Тюржис.

Однако, было еще очень далеко до серьезного обращения Бернара. Действительно, он провожал графиню в церковь, но становился рядом с ней, и в течение всей обедни не переставал что-то жужжать ей в уши к великому соблазну верующих. Таким образом, он не только пропускал мимо ушей богослужение, но даже мешал верующим слушать его с подобающей внимательностью. Известно, что в те времена процессии были таким же занятным развлечением, как маскарад или увеселительные прогулки. Наконец, Мержи не чувствовал угрызении совести, опуская пальцы в святую воду, ибо это давало ему возможность при всех пожимать красивую руку, вздрагивавшую каждый раз, как только он ее касался. В конце концов, если он и сохранял свою веру, то

ему приходилось выдерживать горячие бои, и Диана приводила свои возражения с тем большим успехом, что она обычно умело выбирала такие минуты для своих богословских споров, когда Мержи труднее всего было отказать ей в чем-либо.

— Дорогой Бернар, — говорила она ему однажды вечером, положив голову на плечо своего любовника и в то же время обвивая его шею длинными прядями своих черных волос. — Дорогой Бернар, ты был сегодня со мною на проповеди, и что же, неужели весь этот поток прекрасных слов не оказал никакого действия на твое сердце? Ты все еще хочешь оставаться бесчувственным?

— Хорошо, добрый друг, как же ты хочешь, чтобы гнусавящий капуцин мог добиться того, чего не смог сделать твой мелодичный и нежный голос вместе с твоими религиозными доводами, так хорошо подкрепляемыми взорами любви, дорогая Диана!

— Злой, я сейчас тебя задушу, — и, стягивая слегка прядь своих волос, она привлекла его к себе еще ближе.

— Знаешь, чем я был занят во время проповеди все время? Я считал жемчужные зерна, украшавшие твои волосы. Смотри, как ты их разбросала

по комнате.

— Я так и знала, что ты не слушаешь проповеди, — вечно одна и та же история. Уходи, — сказала она с некоторой грустью. — Я прекрасно вижу, что ты любишь меня не так, как я тебя. Если б ты любил меня, то давно бы стал католиком.

— Ах, Диана, зачем эти вечные споры, предоставим их докторам Сорбонны и нашим священникам, а сами мы лучше сумеем провести наше время!

— Оставь меня! Если бы я могла спасти тебя, как я была бы счастлива. Знаешь, Бернар, ради твоего спасения я согласилась бы удвоить число лет, которые я должна буду провести в чистилище.

Он сжал ее в объятиях, но она оттолкнула его с выражением неизъяснимой печали.

— А ты, Бернар, не сделал бы этого для меня? Тебя нисколько не беспокоит опасность, которой подвергается моя душа в те минуты, когда я вся тебе отдаюсь…

Слезы бежали из ее прекрасных глаз.

— Дорогой друг, разве ты не знаешь, что любовью прощается многое и что…

— Да, я хорошо это знаю, но если бы я сумела спасти твою душу, мне были бы отпущены все мои грехи, которыми мы грешили вместе, вдвоем

с тобою, все, что мы сможем еще совершить… все это нам отпустилось бы. Да что я говорю: самые наши грехи сделались бы орудием нашего спасения.

Говоря так, она со всей силой сжала его в объятиях, и огненный пыл, воодушевлявший ее при произнесении этих слов, имел в себе что-то настолько комическое, что Мержи с трудом удержался от смеха, сделавшись предметом проповеди такого необычного свойства.

— Чуточку подождем обращаться к богу, моя Диана, а когда мы станем стары, и ты, и я, когда мы не сможем больше осуществлять наши любовные игры…

— Ты злой, ты приводишь меня в отчаяние. Зачем эта дьявольская улыбка у тебя на губах, неужели ты думаешь, что я захочу целовать такие губы?

— Ну, вот, я не улыбаюсь больше.

— Хорошо, успокойся! Скажи мне, querido Bernardo[57], прочел ли ты книгу, данную мной?

— Да, я вчера ее кончил.

— Ну, и как же ты ее нашел? Вот истинное суждение, — самые неверующие должны будут

---

[57] Примечания: 57
Желанный Бернар (*исп.*).

Примечание переводчика.

умолкнуть.

— Твоя книга, Диана, это сплетение лжи и наглости, это самое глупое, что только вышло до сих пор из-под станка папистской печати. Бьюсь об заклад, что ты сама этого не читала, хотя говоришь о ней с такой уверенностью.

— Да, я ее еще не прочла, — ответила она, слегка краснея, — но я уверена, что она полна разумных доводов и истины. Одно то, что гугеноты так яростно стараются ее обесценить, служит ей лучшей защитой.

— Хочешь ли, чтобы провести время, я докажу тебе со священным писанием в руках…

— О, береги себя, Бернар! Благодарю тебя. Я, конечно, не читаю священного писания, как делают это еретики, я не хочу, чтобы вера моя ослабела. К тому же ты даром потратишь время. Вы, гугеноты, всегда вооружены тем знанием, которое приводит в отчаяние. Вы бросаете нам его в лицо во время споров, и бедные католики, не располагающие, как вы, аргументами Аристотеля и текстами библии, не умеют вам ответить.

— А все потому, что вы, католики, хотите верить любой ценой, вы не хотите доставить себе труда испытать, разумны или нет предметы вашей веры. По крайней мере мы, протестанты, изучаем

нашу религию раньше, чем ее защитить, и в особенности прежде, чем начать ее проповедывать.

— Ах, как бы я хотела обладать красноречием преподобного отца Жирона-францисканца!

— Да ведь это же болван и пустомеля! Но как бы он ни кричал, все равно шесть лет назад на публичном диспуте наш священник Гудар посадил его на место.

— Ложь, выдуманная еретиками.

— Как, и ты не знаешь, что во время прений видели, как крупные капли пота упали со лба доброго отца на книгу Иоанна Златоуста, которую он держал в руках? По поводу этого один шутник написал такие стихи…

— Я не желаю их слушать, не отравляй мне слух твоими ересями. Бернар, милый Бернар, заклинаю тебя не слушать всех этих приспешников сатаны, которые тебя обманывают и ввергают тебя в ад. Умоляю тебя, спаси свою душу, вернись в нашу церковь!

И так как, несмотря на все свои настояния, она читала на губах своего любовника улыбку неверия, то она воскликнула:

— Если ты меня любишь, отрекись ради меня, ради любви ко мне от твоих обреченных на осуждение верований!

— Мне было бы много легче, милая Диана, ради тебя расстаться с жизнью, чем отречься от того, что истинным признает мой разум. Как ты хочешь, чтобы любовь заставила меня разувериться, что дважды два четыре.

— Жестокий!..

Мержи обладал безошибочным средством прекращения прений подобного рода, и он воспользовался этим средством.

— Увы! Бернар, милый, — говорила под утро графиня томным голосом, когда разгоравшийся день принудил Мержи к уходу, — ради тебя я подвергаюсь опасности вечного осуждения и уже теперь ясно вижу, что не буду иметь утешения в твоем спасении.

— Ну, полно, ангел мои, будет час, и отец Жирон даст нам полное отпущение грехов in articulo mortis[58].

---

[58] Примечания: 58
В минуту смерти (*лат.*).

Примечание переводчика.

Глава девятнадцатая
ФРАНЦИСКАНСКИЙ МОНАХ

Какие монаху цены?
Он и пары яиц не стоит,
А когда он уйдет за стены,
Он десяток яиц утроит.[59]

На утро следующего за бракосочетанием Маргариты с королем Наварры дня капитан Жорж по приказу двора покинул Париж, чтобы направиться в качестве эскадронного командира легкой конницы Моского гарнизона. Брат простился с ним довольно весело и, ожидая, что тот вернется еще до окончания празднеств, с легкостью покорился одиночеству на несколько дней. Госпожа Тюржис поглощала довольно много времени, и потому ничего ужасного не было в нескольких днях одиночества. По ночам он не оставался никогда дома, а днем спал.

В пятницу, 22 августа 1572 года, адмирал был ранен осколком из пищали, произведенным

---

[59] Примечания: 59
Латинская загадка.

Примечание переводчика.

каким-то злодеем, по имени Морвель. Народная молва приписала это подлое покушение герцогу Гизу, и этот сеньор на следующий день покинул Париж, словно для того, чтобы избежать жалоб и угроз со стороны реформатов. Король первоначально делал вид, что он не хочет преследовать его со всей строгостью, но отнюдь не возражал против его возвращения, которое вскоре послужило знаком начала ужасной резни, подготовленной к ночи 24 августа.

Довольно большое количество молодых дворян из протестантов на хороших лошадях рассыпалось по улицам, намереваясь отыскать герцога Гиза и его друзей с целью затеять с ними ссоры при встрече. Тем не менее, первоначально все протекало мирно. Народ, напуганный их количеством, а может быть, и намеренный поберечь силы для другого случая, хранил при их появлении гробовое молчание и виду не показывал, что волнуется, слыша крики: «Смерть убийцам господина адмирала! Долой всех гизардов!»

На повороте одной из улиц протестантская толпа неожиданно встретила полдюжины молодых католических дворян, в большинстве приверженцев Гиза. Ожидали крупной ссоры, но она не произошла. Может быть, благоразумия ради, а

может быть, выполняя точные предписания, они не отвечали на оскорбления протестантов, и даже некий молодой человек благопристойного вида, шедший впереди католической группы, подошел к Мержи и, вежливо поклонившись, сказал ему дружеским тоном близкого знакомого:

— Здравствуйте, господин Мержи! Вы, конечно, видели господина Шатильона? Скажите, как его здоровье? Арестован ли покушавшийся?

Обе встретившиеся группы остановились. Мержи знал барона Водрейля, поклонился ему и, в свою очередь, ответил на заданные вопросы. В группах завязались отдельные разговоры, которые продолжались недолго. Встречные разошлись без пререканий, католики уступили дорогу, и каждый пошел восвояси.

Водрейль немного задержал Мержи, так что последний слегка отстал от своих. Кончая разговор и прощаясь, Водрейль, взглянув на седло, сказал:

— Обратите внимание, если я не ошибаюсь, ваша куцая лошадь слабо заподпружена.

Мержи спешился и подтянул у лошади подпругу. Не успел он вскочить в седло, как услышал, что кто-то, незнакомый, крупной рысью скачет за ним. Оглянувшись, он увидел молодого человека из только что встреченной группы.

— Порази меня господь, — сказал он, приближаясь к нему, — если я не был бы в восторге встретиться один на один с кем-либо из тех, кто выкрикнул сейчас: «Долой гизардов!»

— Вам не придется итти далеко на поиски, — ответил ему Мержи, — прикажете быть к вашим услугам?

— Так вы случайно из группы этих негодяев?

Мержи мгновенно приготовился к бою и ударом плашмя стукнул шпагой в лицо этого приверженца Гиза. Тот выхватил седельный пистолет и в упор нацелился в Мержи. К счастью, выстрела не последовало, вспыхнул только затравочный порох. Любовник Дианы ответил врагу сильнейшим ударом шпаги в голову, и тот свалился с лошади, купаясь в собственной крови.



Народ, до той поры бесстрастно наблюдавший происходящее, стал на сторону раненого. Молодой гугенот был осыпан камнями и палочными ударами, и так как всякое сопротивление оказалось бесполезным, он решил хорошенько пришпорить лошадь и умчаться галопом. Желая срезать угол на повороте в другую улицу, Мержи опрокинул лошадь и сам упал, и хотя не был ранен, но не смог подняться настолько быстро, чтобы предупредить толпу, сбегавшуюся вокруг. И вот он стал у стены и начал отражать удары тех, кого могла достать его шпага. Резкий удар дубины сломал ему лезвие, он сам оказался сбитым с ног и едва не был растерзан, когда какой-то францисканский монах, бросившийся в толпу, напавшую на него, закрыл Мержи своим телом.



— Что делаете вы, дети мои? — кричал монах. — Отпустите этого человека, он ни в чем не

виноват.

— Да ведь это гугенот! — ответило ему рычание сотни разъяренных голосов.

— Вот и хорошо: отпустите его, чтобы дать ему время раскаяться. Он еще успеет!

Руки, державшие Мержи, тотчас же его отпустили. Он встал, поднял остаток шпаги и приготовился продать жизнь подороже, ожидая нового нападения.

— Оставьте жизнь этому человеку, — продолжал монах, — и запаситесь терпением. Еще немного, и гугеноты пойдут к обедне.

— Немного, немного, — повторяло несколько голосов с досадой. — Нам уже давно твердят, чтобы мы потерпели, а пока что каждое воскресение во время их проповедей их песни смущают честных христиан.

— Ну, что же, — весело продолжал монах, — разве вы не знаете поговорки: «Собака кричит, кричит, а потом охрипнет»? Пусть их повоюют еще немного. Уже скоро, скоро, по милости богородицы августовской, вы услышите, как они поют латинскую мессу. А что касается этого молодого парпайота, то отдайте его мне, я состряпаю из него честного христианина. Идите с миром и не пережаривайте жаркого для того, чтобы

съесть его скорее!

Толпа разошлась, ворча, но без малейших обид по адресу Мержи. Ему даже возвратили лошадь.

— О первый раз со мной случается, отец мой, — сказал Мержи, — что ваша ряса, попадаясь мне на глаза, доставляет мне удовольствие. Поверьте моей признательности и соблаговолите принять этот кошелек.

— Если вы назначаете его для раздачи бедным, мой сынок, то, отчего ж, я возьму! Имейте в виду, что я интересуюсь вами. Я знаком с вашим братом и вам желаю добра. Переходите в католичество сегодня же, идите со мною, и дело будет обстряпано в одну минуту!

— Вот за это, отец мой, благодарю вас. У меня нет никакого желания переходить в католичество. Но откуда вы меня знаете, как ваше имя?

— Я зовусь брат Любен и... вот что, плут вы этакий, я частенько вижу, как вы бродите около одного дома. Тсс! Теперь скажите, господин Мержи, верите ли вы в то, что монах может сделать добро?

— Я разглашу всем о вашем великодушии, отец Любен.

— Так вы не хотите все-таки сменить проповедь на мессу?

— Нет, еще раз нет. И в церковь я буду ходить только для того, чтобы слушать ваши проповеди.

— А, да вы, повидимому, человек со вкусом.

— А кроме того, ваш большой почитатель.

— Ей-богу, мне страшно досадно, что вы упорствуете в вашей ереси. Я вас предупредил, я сделал все, что мог. Будь, что будет! Что касается меня, то я умываю руки. Прощайте, сынок!

— Прощайте, отец!

Мержи снова сел на лошадь и вернулся к себе несколько помятый, но очень довольный, что унес ноги из этой скверной истории.

Глава двадцатая
ЛЕГКОКОННЫЙ ЭСКАДРОН

***Жаффиер**. Да будет осужден на казнь*
И тот из нашей среды,
Кто пощадит брата, отца иль друга.

Отвей, «Спасенная Венеция».

Вечером 24 августа легкоконный эскадрой входил в Париж через Сент-Антуанские ворота. Густо покрытые пылью сапоги и одежда всадников показывали, что путь был долог. Последние лучи отгоравшего дня озаряли их тревожные лица, на которых можно было прочесть предчувствие еще неведомых, но волнующих событий, сулящих печальный конец.

Отряд направлялся мелким рысистым аллюром к большому пустырю, простиравшемуся вдоль стен древнего турнельского дворца. Там капитан дал приказ основаться, потом послал двенадцать человек под начальством корнета на разведку, а сам расставил при входе в соседние улицы часо-

вых, которым приказано было держать наготове тлеющие пальники, словно перед лицом врага. Приняв эти меры чрезвычайной предосторожности, он снова вернулся к голове эскадрона.

— Сержант, — сказал он тоном более повелительным и строгим, чем обыкновенно.

Старый кавалерист в шляпе с золотым галуном и с перевязью, покрытой шитьем, почтительно подошел к начальнику.

— Вся ли конница имеет пальники?

— Да, капитан.

— Есть ли порох в пороховницах? Все ли запаслись достаточным количеством пуль?

— Да, капитан.

— Хорошо! — он пустил вдоль фронта маленького отряда свою лошадь шагом. Сержант следовал за ним на дистанции, равной длине одной лошади. Он заметил, что капитан не в духе, и не смел подъехать ближе. Наконец, набравшись храбрости, он решился спросить:

— Капитан, разрешите засыпать корму лошадям, ведь они с утра не имели дачи.

— Нет.

— Пригоршню овса, ведь это одна минута.

— Приказываю не разнуздывать ни одной лошади.

— Это потому, что нам предстоит нынче ночью работа… как говорят… что, может быть…

Офицер сделал нетерпеливый жест.

— Вернись на свое место, — сказал он сухо и продолжал свою поездку.

Сержант вернулся в ряды солдат.

— Ну, что, сержант, это, верно, будет дело? Что будет? Что сказал капитан?

Десятки вопросов сразу посыпались со стороны старых солдат, которым заслуги и долгий опыт позволяли свободное обращение со старшим.

— Поживем — увидим! — сказал сержант тоном человека, который знает больше, чем хочет сказать.

— Ну а что, в чем дело?

— Не разнуздывать лошадей ни на минуту, потому что, кто знает, с минуты на минуту мы можем понадобиться.

— Ах, вот как! Значит, собираются драться? — спросил трубач. — А с кем вот драться, мне хотелось бы знать.

— С кем? — повторил сержант вопрос, чтобы иметь время придумать ответ. — Чорт возьми, хорошенький вопрос: с кем, по-твоему, драться, как не с врагами короля?

— Это, конечно, так, но кто они — враги коро-

ля? — продолжал упрямый вопрошатель.

— Враги короля? Он не знает, кто враги короля! — и он с видом сожаления пожал плечами.

— Так это испанец враждовал с королем! Но ведь он не придет же сюда этак, исподтишка, нигде не замеченный, — вставил один из кавалеристов.

— Ба! — воскликнул другой. — Знавали мы и других врагов короля, помимо испанцев!

— Бертран говорит правильно, и я знаю, кого он имеет в виду.

— Да кого же?

— Гугенотов, — ответил Бертран. — Не надо быть чародеем, чтобы догадаться. Всему миру известно, что гугеноты взяли свою веру у немцев, а я хорошо знаю, что немцы нам враги, потому что меня частенько заставляли постреливать в них из пистолета, особенно при Сен-Кантене, где они бились, как черти.

— Все это очень хорошо, — заметил трубач, — но ведь с ними уже заключен мир, и, помнится, по этому случаю был немалый шум от праздников.

— Есть доказательство того, что они нам не враги, — ответил всадник, одетый лучше других, немолодой с виду. — Доказательство то, что в предстоящую войну с Фландрией все легкокон-

ные отряды идут под командой Ларошфуко, а кому же не известно, какой он веры? Чорт меня побери, он гугенот с головы до ног, шпоры он носит, словно Конде, а шляпа у него надета по-гугенотски.

— Сдохни он от чумы! — воскликнул сержант. — Ты всего не знаешь, Мерлен, тебя не было в нашем полку, когда Ларошфуко командовал засадой. Мы едва все не полегли в Паутье и Роблейле. Это, ух какая хитрая бестия!

— Да ведь он же говорил, — добавил Бертран, — что рота рейтаров куда лучше, чем легкоконный эскадрон. Я уверен в том, что он сказал эти слова, так же, как в том, что сижу на руанской лошади. Я слышал это от королевского пажа.

Движение негодования охватило слушавших, но любопытство к военным приготовлениям и желание узнать, против кого принимались такие меры предосторожности, сейчас же перебили это чувство.

— Скажи, сержант, — спросил трубач, — правда ли, что вчера было покушение на короля?

— Бьюсь об заклад, что это… еретики.

— Трактирщик в гостинице «Андреевский крест», где мы вчера закусывали, — сказал Бертран, — нам сообщил, как достоверное, что они

хотят переделать и перекроить всю обедню.

— Тогда не будет постных дней, — философским тоном заметил Мерлен. — Вкус малосольной свинины вместо чашки бобов, — словом, тут нечем огорчаться!

— Да, но если гугеноты будут законодательствовать, так они первым делом разобьют, как стаканы, все отряды легкой конницы и на наше место поставят своих немецких рейтарских собак.

— Ну, если так, я им насыпал бы перцу! Сдохнуть мне на этом месте, это может сделать человека верным католиком. Послушай, Бертран, ты служил у протестантов, правда ли, что адмирал платит кавалерии только восемь су?

— Ну, да, ни гроша больше, старый хрыч! Потому-то после первого похода я его и бросил.

— Что-то капитан сегодня не в духе, — заметил трубач. — Всегда этакий славный парень, разговорчивый с солдатами, нынче рта не раскрыл всю дорогу.

— Это последние известия его огорчают.

— Какие известия?

— Да вот сообщение о гугенотских затеях.

— Гражданская воина вот-вот разгорится снова, — сказал Бертран.

— Ну, что ж, нам это лучше, — сказал Мерлен, всегда стремившийся усмотреть в вещах хорошую сторону. — Можно будет драться, жечь деревни, грабить гугенотов.

— По всей видимости, они хотят возобновить старое амбуазское дело, — сказал сержант. — Потому-то нас и вызвали. Мы живо наведем порядок.

В эту минуту вернулся корнет со своим взводом. Он подошел к капитану и стал ему тихонько докладывать, между тем как солдаты, ездившие с ним, вошли в толпу товарищей.

— Клянусь бородой, — сказал один разведчик, — не понять, что творится в Париже. На улицах кошка не пробежит — пусто, а Бастилия набита войсками, и швейцарские пики колышутся, как рожь в поле. Куда там!

— Но ведь их там не больше пяти сотен, — перебил другой.

— Достоверно только одно, — продолжал первый, — что гугеноты даже пытались убить короля. И великий герцог Гиз в драке собственноручно ранил адмирала.

— Ах, хорошо разбойник сделал! — воскликнул сержант.

— Уж до того дошло дело, — продолжал кава-

лерист, — что даже эти швейцарцы лопочут на своей чортовской тарабарщине, что мы во Франции уж слишком долго терпим еретиков.

— Это правда: с некоторого времени они страшно загордились, — сказал Мерлен.

— Можно сказать, что это они нас побили при Жарнаке и Монконтуре, так они чванятся и хорохорятся.

— Им бы хотелось, — сказал трубач, — съесть окорок, а нам швырнуть кости.

— Давно пора католикам хорошенько их встряхнуть!

— Что касается меня, — сказал сержант, — то стоит королю сказать мне: «Перестреляй этих негодяев», так пусть меня разжалуют, если мне понадобится повторение команды!

— Бельроз, расскажи нам чуточку, что делал наш корнет, — спросил Мерлен.

— Он поговорил с каким-то швейцарцем вроде офицера, но я не расслышал о чем; должно быть, было что-нибудь любопытное, потому что он всякую минуту восклицал: «Ах, боже мой, ах ты, боже мой!»

— Глядите-ка: кавалеристы несутся галопом; несомненно, везут приказ.

— Кажется, их только двое.

Капитан и корнет пошли навстречу.

Двое всадников быстро приближались к легкоконному отряду. Один из них, роскошно одетый, в шляпе с перьями и зеленым шарфом, ехал на боевом коне. Его спутник, коротенький, коренастый человек, был одет в черное и держал в руках большой деревянный крест.

— Наверняка будет драка, — заметит сержант. — Вон и поп, чтоб исповедывать раненых.

— Подумаешь, какое удовольствие сражаться, не жравши, — проворчал Мерлен.

Оба всадника замедлили ход лошадей, так что, подъехав к капитану, они без усилия их остановили.

— Целую руки господину Мержи, — произнес человек с зеленым шарфом. — Узнаете ли вашего покорного слугу, Томаса Морвеля?

Капитан еще не знал о новом злодеянии Морвеля, он знал только о совершенном Морвелем убийстве храброго Муи. Он ответил очень сухо:

— Никакого Морвеля я совершенно не знаю. Я предполагаю, что вы пожаловали для того, чтобы сообщить нам, зачем мы, в конце концов, находимся здесь.

— Дело идет, милостивый государь, о спасении нашего доброго короля и святой нашей веры от

угрожающей им опасности.

— В чем же опасность? — презрительно спросил Жорж.

— Гугеноты в заговоре против короля. Их преступное сообщество открыто вовремя, благодарение богу! И все верные христиане должны ночью соединиться, чтобы истребить их во сне.

— Яко мадианитяне с силою гедеоновою, — подхватил человек в черной рясе.

— Что я слышу? — воскликнул Мержи, вздрогнув от ужаса.

— Горожане вооружены, — продолжал Морвель. — Французская гвардия и три тысячи швейцарцев сейчас в столице. С нами свыше шестидесяти тысяч человек. В одиннадцать часов по данному сигналу начнется работа.

— Проклятый головорез, что за гнусную клевету ты сюда приносишь? Король не приказывает убивать… самое большее, он за это платит.

С этими словами Жорж вспомнил о странном разговоре, который он имел с королем несколько дней перед тем.

— Не заноситесь, господин капитан. Если бы я не был поглощен заботой об исполнении королевских поручений, я сумел бы ответить на ваши оскорбления. Слушайте меня! Я явился

от имени его величества требовать, чтобы вы и ваш отряд последовали за мной. Нам поручен Сент-Антуанский район и прилегающие к нему кварталы. Я привез вам список лиц, подлежащих истреблению. Преподобный отец Мальбуш даст напутствие вашим солдатам и произведет раздачу белых крестов, какие будут у всех католиков, дабы в темноте верные не были приняты за еретиков.

— Вы думаете, что я дам согласие на резню, истребляющую сонных людей?

— Католик ли вы? Признаете ли вы королем Карла IX? Известна ли вам подпись маршала Ретца, которому вы обязаны повиноваться? — и он вручил ему грамоту, висевшую у него на поясе.

Мержи подозвал конника, и при свете факела из соломы, зажженного пищальным пальником, прочел формальный приказ, предписывающий именем короля ему, капитану Мержи, оказать вооруженную помощь французской гвардии и отдать себя в распоряжение господина Морвеля для дела, которое вышеназванный Морвель ему объяснит. К этому приказу приложен был список имен с таким заголовком: «Список еретиков, подлежащих умерщвлению в Сент-Антуанском квартале». При свете горящего факела в руках

конника все всадники увидели, какое впечатление этот приказ произвел на их начальника, не знавшего о приказе раньше.



— Никогда мои кавалеристы не согласятся стать простыми убийцами, — произнес Жорж, швыряя приказ в лицо Морвеля.

— Речь идет не об убийстве, — холодно заметил священник, — речь идет об еретиках и о справедливом воздаянии им за зло.

— Молодцы! — крикнул Морвель, громко обращаясь к солдатам. — Гугеноты хотят убить короля и истребить католиков, это надо предупредить нынче же ночью; покуда они спят, мы всех их перебьем. А король отдает их дома вам на разграбление.

Крики дикой радости пробежали по рядам: «Да здравствует король! Смерть гугенотам!»

— Молчать, по рядам! — скомандовал капитан громовым голосом. — Я один даю приказы моим солдатам. Солдаты, что говорит этот подлец! Может ли это быть правдой? Даже если бы король отдал такой приказ, разве моя конница согласится убивать беззащитных людей?

Солдаты молчали.

— Да здравствует король! Смерть гугенотам! — кричали Морвель и его спутник разом. Солдаты присоединили свой крик: «Да здравствует король! Смерть гугенотам!»

— Ну, капитан, будете ли вы повиноваться? —

спросил Морвель.

— Я больше не капитан, — воскликнул Жорж и сорвал офицерский знак и шарф офицерского достоинства.

— Схватить изменника! — закричал Морвель, обнажая шпагу. — Убейте бунтовщика, не повинующегося королю!

Но тут ни один солдат не осмелился поднять руку на своего вождя. Жорж выбил шпагу из рук Морвеля, но вместо того, чтобы пронзить его своей, он ударил его в лицо эфесом с такой силой, что тот свалился наземь.

— Прощайте, подлецы, — сказал он своему отряду. — Я считал вас солдатами, а вы только убийцы.

Потом обернулся к корнету:

— Вот, Альфонс, прекрасный случай, если хотите стать капитаном. Примите командование эскадроном.

Говоря так, он дал шпоры лошади и вскачь понесся к центру столицы.

Корнет последовал за ним, но, сделав несколько шагов, замедлил аллюр, перевел лошадь в шаг, потом остановился, дал повод обратно и вернулся в отряд, без сомнения, рассудив, что совет капитана, хотя и дан сгоряча, все же хорош.

Морвель, еще ошеломленный полученным ударом, снова сел на лошадь, разражаясь проклятиями, а монах, поднимая распятие, наставлял солдат не щадить гугенотов и потопить ересь в волнах и потоках крови.

Солдаты на минуту задержались под влиянием упреков, брошенных капитаном, но, увидя, что они свободны от его присутствия, и предвкушая безнаказанный грабеж, взмахнули саблями над головами и дали присягу в точности исполнять предписания Морвеля.

Глава двадцать первая
ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ

***Прорицатель**. Берегись мартовских ид!*

Шекспир, «Юлий Цезарь».

В тот же вечер, в обычный час, Мержи вышел из дому, закутавшись плащом, по цвету не отличавшимся от стен, в шляпе, опущенной на глаза, и с надлежащей осторожностью направился к дому графини. Едва он сделал несколько шагов, как встретил хирурга Амвросия Паре, с которым познакомился в дни, когда пользовался его заботами, будучи раненым. Паре, несомненно, шел из особняка Шатильона, и Мержи, поняв, что тот его уже узнал, справился о здоровье адмирала.

— Ему лучше, — ответил хирург. — Рана серьезная, но больной крепок. С божьей помощью он поправится. Надеюсь, что прописанная мною микстура будет для него целительна и он будет спать спокойно.

Какой-то человек из простонародья, проходя мимо, услышал, что речь идет об адмирале. Когда он отошел довольно далеко, настолько, что мог

безнаказанно проявить дерзость, он закричал:

— Скоро настанет час, когда ваш чортов адмирал пропляшет монфоконскую сарабанду[60], — и бросился бежать со всех ног.

— Жалкая сволочь, — произнес Мержи. — Жалею, что наш адмирал вынужден жить в городе, где у него столько врагов.

— К счастью, его особняк хорошо охраняется, — ответил врач. — Когда я его оставил, все лестницы кишмя кишели солдатами с тлеющими пальниками в руках. Ах, господин Мержи, население столицы нас не любит. Но поздно, мне пора в Лувр.

Они расстались, пожелав друг другу доброй ночи, и Мержи пошел своей дорогой, предавшись розовым мечтам, которые быстро заставили его забыть и адмирала, и ненависть католиков. Однако, он не мог не заметить необычайного движения парижских улиц, обычно столь мало оживленных с наступлением ночи. То ему попадались навстречу грузчики, тащившие на плечах тяжести странной формы, казавшиеся в темноте связками пик, то это были взводы

---

[60] Примечания: 60

Монфоконская сарабанда, или танец между небом и землей — площадные обозначения смертной казни через повешение.

Примечание переводчика.

солдат, проходивших безмолвно с оружием на изготовку, с горящими пальниками; кое-где поспешно распахивались окна, на мгновение показывалась какая-то фигура с фонарем и исчезала мгновенно.

— Эй! — крикнул он кому-то из грузчиков. — Добрый человек, что несешь в такой поздний час?

— Игрушки во дворец на нынешнюю ночь, любезный дворянин!

— Любезный, — обратился Мержи к сержанту, шедшему во главе патруля, — куда вы идете в таком вооружении?

— Идем во дворец поиграть нынешней ночью, любезный дворянин!

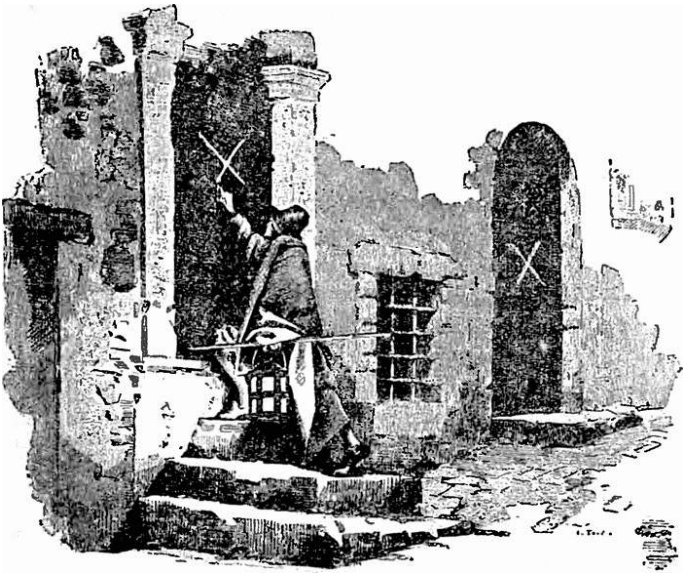
— Эй, паж, почему вы не с королем, куда вы с товарищем ведете лошадей в боевом снаряжении?

— Во дворец, для нынешней ночной игры, любезный дворянин.

— Ночная игра, — повторял про себя Мержи. — Кажется, все, кроме меня, понимают, в чем дело. Впрочем, мне-то что. Король может играть без меня, меня мало интересуют его развлечения.

Немного далее он заметил дурно одетого человека, который останавливался перед некоторыми домами и отмечал двери, ставя мелом кресты.

— Эй, милый человек, ты квартирьер, что ли, что размечаешь военный постой?



Неизвестный скрылся без ответа.

На перекрестке, сворачивая на улицу, где

проживала графиня, Мержи едва не сбил с ног человека, закутанного, как и он, в широкий плащ и огибающего угол дома, стремясь в противоположном направлении.

Несмотря на темную ночь и принятые обоими меры, делавшие каждого незаметным, оба они сразу узнали друг друга.

— А, добрый вечер, Бевиль, — сказал Мержи, протягивая ему руку.

Чтобы протянуть ему правую, Бевиль сделал странное движение под плащом: из правой он переложил в левую какой-то предмет, повидимому, довольно тяжелый, при этом плащ слегка приоткрылся.

— Да здравствует доблестный повелитель, баловень красавиц! — воскликнул Бевиль. — Бьюсь об заклад, что мои благородный друг спешит на счастливое свидание.

— А вы сами, сударь… сдается мне, что мужья крепко вас не любят: если не ошибаюсь, у вас на груди сверкнула кольчуга, а то, что вы держите под плащом, чортовски смахивает на пистолеты.

— Надо быть настороже, господин Бернар, очень настороже!

Произнося эти слова, он старательно поправил плащ, чтобы скрыть бывшее на нем вооружение.

— Бесконечно сожалею, что не могу вам предложить своей службы и своей шпаги, чтобы на улице сторожить покой вашей дамы. Сегодня никак не могу. Но в другой раз, пожалуйста, располагайте мною.

— Сегодня ночью вам нельзя итти со мною, господни Мержи.

Эта короткая фраза сопровождалась загадочной улыбкой.

— Ну, желаю вам удачи. Прощайте.

— И вам желаю удачи.

Эти прощальные слова он произнес с каким-то особым ударением.

Они разошлись, и Мержи уже отошел шагов десять, как вдруг услышал окрик Бевиля. Он обернулся и увидел, что тот идет обратно.

— Ваш брат в Париже?

— Нет, но жду со дня на день. Кстати, скажите, вы участвуете в нынешней ночной игре?

— В ночной игре?

— Да, повсюду раздаются слова о том, что сегодня ночью в Лувре большая игра.

Бевиль сквозь зубы пробормотал несколько слов.

— Еще раз прощайте, — сказал Мержи. — Я несколько тороплюсь и… вы понимаете, что я

хочу сказать?

— Послушайте еще только два слова. Я не в силах отпустить вас, не дав вам дружеского совета.

— Какого совета?

— Не появляйтесь сегодня ночью в ее доме, не ходите к ней. Завтра вы будете мне за это благодарны.

— Это ваш совет? Но я вас не понимаю. Что значит: к ней?

— Полноте-ка, мы отлично понимаем друг друга. Но если вы хотите быть благоразумным, то сегодня же вечером переправьтесь на другой берег Сены.

— Таким образом, вы хотите закончить наш разговор шуточкой?

— Нимало! Я говорю серьезно, как никогда. Говорят вам: отправляйтесь на другой берег Сены, а если дьявол не дает вам покоя и вам невтерпеж, то отправляйтесь-ка в монастырь якобинок на улице св. Якова, минуйте две двери святых отцов и вы увидите большое деревянное распятие на домике довольно жалкого вида; как видите, вывеска мало соответствует учреждению. Но, чорт с ней… вы постучитесь и найдете там старуху, весьма услужливую; она из уважения ко мне окажет вам хороший прием… перекиньте жар вашей

крови на другой берег Сены, у матушки Блюлар племянницы миленькие и очень услужливые… Понимаете?

— Вы слишком добры. Привет и поцелуй.

— Да слушайте ж, я говорю серьезно. Прошу вас, последуйте моему совету. Даю вам честное слово дворянина, он хорош во всех отношениях.

— Очень благодарен! Воспользуюсь в другой раз, а сегодня меня ждут. — Мержи двинулся дальше.

— Добрый друг, переправьтесь через Сену, вот мое последнее слово. Если вы не послушаетесь и с вами случится беда, я умываю руки.

Чрезвычайная серьезность тона поразила Мержи. Бевиль уже шел, повернувшись к нему спиной, и на этот раз Мержи задержал его:

— Что за чертовщину вы несете, объясните мне, Бевиль! Перестаньте говорить загадками.

— Дорогой мой, я, быть может, совсем не должен был говорить вам так ясно, но, повторяю, переправьтесь через реку до наступления ночи, а теперь прощайте!

— Но…

Бевиль был уже далеко. Мержи бежал за ним минуту, но вскоре, стыдясь, что теряет время, которое мог бы употребить интереснее, вернулся

и подошел к саду, в который нужно было войти. Ему пришлось некоторое время ходить вперед и назад, чтобы переждать нескольких прохожих. Он боялся, что им покажется странным, что он входит в садовую калитку в такой поздний час. Ночь была прекрасная. Тихий ветерок смягчил дневную жару. Луна то появлялась, то исчезала среди легких белых облаков. Это была ночь, созданная для любви. На минуту улица осталась пустынной, и тотчас же Мержи открыл калитку и бесшумно запер за собою. Сердце его билось сильно, но он думал только о наслаждениях, которые ждали его у Дианы, а зловещие мысли, возникшие в душе под влиянием непонятных слов Бевиля, исчезли совершенно. Крадучись, подошел он к дому. В полуоткрытом окне, за красной занавеской, горела лампа — это был условный знак. В мгновение ока он был уже в молитвенной комнате своей любовницы.

Она полулежала на очень низком диване, обитом темно-синим атласом. Ее длинные черные волосы в беспорядке рассыпались по подушке, к которой она приникла головой. Глаза у нее были закрыты, но, казалось, она делала усилия, чтобы не поднять веки. Одинокий серебряный светильник, свисавший с потолка, освещал ком-

нату и весь свой свет изливал на бледное лицо и воспаленные губы Дианы де-Тюржис. Она не спала, но по виду ее казалось, что она находится в состоянии мучительного и тягостного бреда. Как только раздался скрип обуви Мержи и шаги по ковру молитвенной комнаты, она подняла голову, открыла глаза и губы, задрожала и с трудом подавила крик ужаса.

— Разве я напугал тебя, мой ангел? — спросил Мержи, становясь на колени перед нею и наклоняясь к подушке, на которую прекрасная графиня снова уронила голову.

— Наконец-то ты, слава богу!

— Разве я заставил себя ждать: еще нет полночи!

— Ах, оставь меня… Бернар!.. Никто не видел, как ты входил?

— Никто… Но что с тобою, любовь моя? Почему маленькие прелестные губки убегают от моих?

— Ах, Бернар, если б ты знал… О, не мучь меня, прошу тебя… Я испытываю ужаснейшие страдания; у меня страшная мигрень… больная голова, как в огне.

— Бедный друг!

— Сядь около меня… и, пожалуйста, на сегодня ничего от меня не требуй… Я совсем больна. Я

очень больна…

Она зарылась головою в подушки постели. Из груди у нее вырвался жалобный стон. Потом вдруг она поднялась на локте, откинула широкую прядь волос, закрывавшую ее лицо, и, хватая Мержи за руку, приложила эту руку себе к виску. Он почувствовал сильнейшее биение артерии.

— У тебя холодная рука, мне от нее легче, — сказала она.

— Диана, как бы я хотел быть больным вместо тебя, — сказал он, целуя ее в горячий лоб.

— Ах, да… и я хотела бы… Приложи концы пальцев к векам… Мне станет легче… Мне кажется, если бы я заплакала, я не мучилась бы так. Но плакать я не могу.

Наступило долгое молчание, прерываемое только неравномерными и подавленными вздохами графини. Мержи на коленях у постели тихо поглаживал и иногда целовал закрытые веки прекрасной Дианы. Левой рукой он облокотился на ее подушку, и пальцы любовницы, сплетенные с его пальцами, время от времени сжимали их, словно судорожным движением. Дыхание Дианы, нежное и горячее в то же время, страстно щекотало щеки Мержи.

— Дорогой друг, — сказал он, наконец. — Мне

кажется, что тебя мучит что-то большее, чем мигрень. Есть ли у тебя какие-нибудь поводы для огорчений… и, если есть, почему ты молчишь о них?.. Разве ты не знаешь, что, любя друг друга, мы должны делить не только радости, но и печали?

Графиня покачала головой, не открывая глаз. Губы ее шевелились, но не произносили ни слова. Потом, словно истощенная этим усилием, она снова уронила голову на плечо Мержи. В эту минуту часы пробили половину двенадцатого. Диана вздрогнула и судорожно поднялась на постели.

— Дорогая моя, правда же, вы меня пугаете!

— Ничего… ничего еще, — произнесла она глухим голосом. — Ужасен бой этих часов, и с каждым ударом кажется, что раскаленное железо входит в голову.

Мержи не нашел лучшего лекарства и лучшего ответа, как поцеловать эту голову. Вдруг она вытянула руки, положила их на плечи любовнику и, попрежнему полулежа, устремила на него сверкающие глаза, которые, казалось, хотели видеть его насквозь.

— Бернар, — сказала она, — когда ты обратишься в католичество?

— Милый ангел, не будем говорить об этом сегодня: тебе станет хуже.

— Я больна от твоего упорства, но ты к этому безразличен! А между тем, время не ждет, и — даже будь я на смертном одре — я до последнего вздоха не переставала бы тебя убеждать.

Мержи хотел закрыть ей рот поцелуем. Это вообще прекрасный довод, могущий всегда служить ответом на все вопросы, которые любовнику предлагает любовница. Но Диана, которая обычно легко поддавалась, на этот раз почти с силой и негодованием оттолкнула его.

— Послушайте, господни Мержи. Все эти дни я проливаю кровавые слезы при мысли о ваших заблуждениях. Вы можете судить, насколько я вас люблю, судите же и о том, как велики мои страдания, когда я думаю, что человек, самый дорогой для меня в жизни, в любое мгновение может погибнуть и телом и душою.

— Диана, вы знаете, что мы условились больше не говорить об этом.

— Нужно говорить об этом, несчастный! Кто сказал тебе, что ты проживешь больше часа в этом мире, если не покаешься?

Необычайный тон ее голоса и загадочность слов невольно возобновили в памяти Мержи

предупреждения произнесенные Бевилем. Это невольно его взволновало. Но опять он сдержался и стал объяснять приступ проповеднической лихорадки исключительной религиозностью своей любовницы.

— Что вы хотите сказать, дорогая моя? Потолок упадет сейчас на голову нарочно, чтобы убить гугенота, как прошлой ночью на нас обоих свалился полог алькова? Но, к счастью, мы отделались горсточкой пыли.

— Ваше упорство приводит меня в отчаяние. Послушайте, мне приснилось, что ваши враги собираются вас убить. Я видела, что, весь в крови, раздираемый их руками, вы испустили вздох раньше, чем я успела привести своего духовника.

— Мои враги? По-моему, у меня нет врагов.

— Безумный! Разве вам не враги все, кто ненавидит вашу ересь? Разве это не вся Франция? Все французы должны быть вашими врагами, пока вы остаетесь врагом господа бога и врагом церкви.

— Оставим это, моя царица! Что касается ваших сновидений, обратитесь за их истолкованием к старой Камилле; я ничего не понимаю в этом деле, поговорим о чем-нибудь другом. Думается

мне, что вы были сегодня при дворе и там подхватили вашу мигрень, причиняющую страдание вам, а меня выводящую из терпения.

— Да, я была там, Бернар, я видела королеву и вышла от нее… с твердым намерением сделать последнюю попытку заставить вас переменить… это надо сделать, это непременно надо сделать!

— Мне кажется, — прервал ее Бернар, — что раз, моя дорогая, ваша болезнь позволяет вам проповедывать с таким пылом, то, с позволения вашего, мы могли бы провести время в тысячу раз приятнее.

Она встретила эту шутку пренебрежительным и разгневанным взглядом.

— Отверженный, — воскликнула она вполголоса, будто сама с собою, — почему так нужно, чтобы я была слаба с ним? — Затем продолжала уже более громко. — Ясно вижу, что вы меня не любите и цените меня не больше, чем хорошую лошадь: только бы я служила для вашего наслаждения, а мои страдания, раздирающие меня, вам безразличны. Ведь только ради вас, ради вас одного я примирилась с муками совести, по сравнению с которыми все пытки, изобретенные человеческой жестокостью, — ничто. Одно слово, вылетевшее из ваших уст, может вернуть мир

моей душе, но вы никогда не скажете этого слова. Вы не захотите пожертвовать ради меня всего лишь одним из ваших предрассудков.

— Диана, дорогая, каким преследованиям я подвергаюсь? Имейте справедливость, не будьте слепы в вашем религиозном рвении, ответьте, найдется ли другой раб, более покорный, чем я, во всех мыслях, во всех поступках? Но нужно ли вам повторять, что я могу скорее умереть за вас, чем уверовать в некоторые вещи!

Она пожимала плечами, слушая его и глядя на него с выражением, доходившим до ненависти.

— Ведь я не мог бы, даже ради вас, сделать так, чтобы мои каштановые волосы стали белокурыми. При всем желании я для вашего удовольствия не могу изменить своего телосложения. Мои верования — это часть меня самого, и вырвать их можно только с жизнью. Мне можно двадцать лет читать проповеди, и все-таки меня не принудят верить в то, что кусочек пресного хлеба…

— Замолчи! — прервала она его повелительно. — Не надо кощунствовать, я испытала все средства, и все безуспешно. Вы все отравлены еретическим ядом, ваши глаза и уши закрыты для истины, вы боитесь ее услышать… Но есть средство уничтожить эту язву церкви, и оно будет

пущено в ход.

Она зашагала по комнате с взволнованным видом и продолжала:

— Не пройдет и часа, как обезглавят семиголовую ересь! Мечи отточены, и сыны церкви готовы, еретики будут стерты с лица земли!

С этими словами, указывая пальцем на часы в углу комнаты, она произнесла:

— Гляди, у тебя пятнадцать минут осталось для покаяния. Когда стрелка дойдет до этой точки, решится твоя судьба!

Она еще не кончила говорить, как донесся глухой шум, похожий на гул толпы, снующей вокруг пожара. Этот шум, сначала смутный, казалось, рос с невероятной быстротой в несколько минут. Вдали послышался колокольный звон и залпы ружейных выстрелов.

— Что за ужас вы предсказываете! — воскликнул Мержи.

Графиня бросилась к окну и распахнула его.

И вот шум, не встречающий на пути ни стекол, ни занавесок, отчетливо ворвался в комнату. Казалось, слышались и крики скорби, и радостный вой. Красноватый дым поднимался к небу, взвиваясь над всеми кварталами города, доступными взору. Он был похож на дым огромного пожара,

если бы запах смолы, ворвавшийся в комнату, не говорил о том, что это — дым от тысячи горящих факелов. В ту же минуту блеск ружейных залпов на мгновение осветил стекла соседнего дома.

— Резня началась! — воскликнула графиня, с ужасом хватаясь за голову.

— Какая резня, что вы хотите сказать этим?

— Сегодня ночью перережут всех гугенотов, таков приказ короля. Все католики взялись за оружие, и ни один еретик не избегнет казни. Церковь и Франция спасены, но ты погиб, если не отречешься от своей ложной веры.

Мержи почувствовал, как холодный пот покрыл все его члены. Блуждающими глазами смотрел он на Диану Тюржис, в чертах которой он читал странную смесь тревоги и торжества. Ужасающий грохот, отдававшийся в ушах и наполнявший весь город, со всей полнотой подтверждал справедливость страшного сообщения, которое он только что услышал. Несколько минут графиня стояла неподвижно, безмолвно устремив на него глаза; только рукою, указывающей на окно, она словно взывала к воображению Мержи с требованием нарисовать себе кровавые сцены, о которых можно было догадаться по этим людским крикам и по этому освещению города.

Постепенно выражение ее лица смягчалось, дикая радость исчезла, но осталось чувство ужаса. Наконец, падая на колени, она закричала умоляющим голосом:

— Бернар, заклинаю тебя, спасай свою жизнь, обратись в истинную веру: спаси себя, спаси мою жизнь, зависящую от этого!

Мержи бросил на нее дикий взгляд, а она, не вставая с колеи, ползла к нему по комнате с распростертыми вперед руками. Не отвечая ей ни слова, он побежал в глубь молитвенной комнаты и там схватил свою шпагу, брошенную на кресло перед тем, как войти в комнату.

— Несчастный, что же ты собираешься сделать? — воскликнула графиня, подбегая к нему.

— Защищаться! Меня не зарежут, как барана.

— Безумец! Тысячи шпаг не могли бы тебя спасти: весь город под оружием. Королевская гвардия, швейцарцы, горожане и простонародье — все принимают участие в резне, и нет ни одного гугенота, который не чувствовал бы сейчас десятка кинжалов у своей груди. Есть одно только средство для тебя вырваться из когтей смерти — это стать католиком!

Мержи был храбрецом, но, представляя себе все опасности, которые сулила эта ночь, он на

мгновение почувствовал, как подлый страх зашевелился в его груди и даже на секунду мелькнула мысль, исчезнувшая с быстротою молнии, о том, чтобы спастись переменой религии.

— Я отвечаю за то, что ты будешь жить, если ты станешь католиком, — сказала Диана, складывая руки.

Мержи думал: «Если я отрекусь, я сам себя буду презирать всю жизнь».

Достаточно было одной этой мысли, чтобы храбрость к нему вернулась и чтобы удвоились силы под влиянием чувства стыда за минутную слабость.

Он надвинул шляпу на лоб, застегнул опоясье и, обмотав плащ вокруг левой руки вместо щита, решительно направился к двери.

— Куда ты идешь, несчастный?

— На улицу. Я не хочу доставлять вам сожаления по поводу того, что меня зарежут в вашем доме, на ваших глазах.

В голосе у него прозвучало такое презрение, что графиня этим была совершенно подавлена. Она загородила ему дорогу, он оттолкнул ее резко и решительно, но она схватилась за полу его камзола и ползла за ним на коленях.

— Оставьте меня, — кричал он. — Вы, что же,

хотите своими руками подставить меня под кинжал убийц? Любовница гугенота может искупить свои грехи, лишь принося в жертву богу кровь своего любовника.

— Остановись, Бернар, умоляю. У меня нет другого желания, кроме твоего спасения. Живи для меня, ангел мой! Спаси себя во имя нашей любви!.. Согласись произнести одно лишь слово, и — я клянусь тебе — ты будешь спасен.

— Как, чтобы я принял веру убийц и разбойников? О, евангельские мученики, я скорее соединюсь с вами!

Он так порывисто вырвался из ее рук, что графиня тяжело упала на паркет. Он хотел открыть выходную дверь, как вдруг Диана с ловкостью молодой тигрицы бросилась на него и сжала его в объятиях с такой силой, какая свойственна только здоровому мужчине.

— Бернар! — закричала она со слезами на глазах. — Таким я люблю тебя еще больше, чем если бы ты сделался католиком!.. Останься здесь, моя единственная любовь, останься со мной, смельчак Бернар, — говорила она, сжимая его в объятиях. — Они не станут искать тебя здесь. Им пришлось бы убить меня, чтобы добраться до твоей груди. Прости меня, мой милый, я не могла

заранее предупредить тебя о грозящей опасности. Я была связана страшной клятвой, но я спасу тебя или погибну вместе с тобой.

В эту минуту раздался грубый стук в дверь. Графиня пронзительно вскрикнула, а Мержи, освободившись от ее объятий, не сбрасывая плаща с левой руки, почувствовал тогда такую силу решимости, что не задумался бы, очертя голову, броситься в толпу убийц, если бы они явились сюда.

Почти во всех домах Парижа во входных дверях были маленькие квадратные отверстия с очень мелкой железной сеткой, так что обитатели дома могли всегда удостовериться раньше, чем впустить кого-либо, насколько безопасно для них открыть дверь.

Зачастую даже массивные дубовые двери, обитые толстым железом и огромными гвоздями, не казались безопасными для осторожных и предусмотрительных людей тогдашнего времени, которые не желали сдаваться иначе, как после правильной осады жилища. Поэтому с обеих сторон дверей делали ради такой самозащиты узкие бойницы, из которых, не будучи замеченным, можно было легко расстреливать осаждающих.

Старый испытанный конюх графини, увидев

через дверную решетку того, кто стоит за дверью, и подвергнув стоящего соответствующему допросу, вернулся и сообщил своей госпоже, что капитан Жорж Мержи настойчиво просит разрешения войти.

Страх прошел; дверь была открыта.

Глава двадцать вторая
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ АВГУСТА

Пускайте кровь! Пускайте кровь!

Слова маршала де-Тавана.

Оставив эскадрон, капитал Жорж спешно направился к себе, надеясь встретить там брата. Но тот уже ушел из дому, сказав прислуге, что не вернется всю ночь. Из этого Жорж без труда заключил, что он находится у графини, и спешно отправился разыскивать его там. Но резня уже началась, шум, натиск убийц, цепи, протянутые через улицу, останавливали его на каждом шагу. Ему пришлось итти мимо Лувра, где фанатическая ярость проявлялась с наибольшей разнузданностью. В этом квартале жило множество протестантов, и теперь он был загружен горожанами из католиков и гвардейскими солдатами с оружием и факелами в руках. Вот именно там *кровь текла со всех сторон, ища выхода в реку*, как выразился энергично один из тогдашних писателей.[61] Нельзя было перейти через улицу,

---

[61] Примечания: 61
Агриппа д'Обинье, «Всемирная история».

не рискуя быть раздавленным чьим-либо трупом, вышвырнутым из высокого окна.

Из адской предусмотрительности убийцы отвели бóльшую часть лодок, стоявших обычно по всей длине Лувра, на другой берег реки, так что беглецы метались на берегу Сены, надеясь броситься в лодку и избегнуть вражеских ударов. Им оставался выбор между водой и алебардой преследовавших их солдат. А тем временем Карл IX, стоя у одного из окон своего дворца, вооруженный длинной пищалью, как говорили очевидцы, *подстреливал, как дичь*, несчастных прохожих.[62]

[62] Примечания: 62
Агриппа д'Обинье, «Всемирная история».



Капитан, шагая через трупы, забрызганный кровью, пробирался своей дорогой, ежеминутно подвергаясь опасности убийства по ошибке от руки какого-нибудь истребителя. Он заметил, что у всех солдат и горожан была белая перевязь на руке и белые кресты на шляпах. Ему ничего не стоило надеть эти опознавательные значки, но ужас, внушенный ему убийцами, отвращал его и от тех значков, которые служили для их опознавания. На берегу реки, около Шатле, он услышал, как кто-то его окликнул. Он повернул голову и увидел человека, вооруженного с головы до ног. Казалось, он не пускал в ход оружия, хотя имел белый крест на шляпе. Он стоял как ни в чем не бывало и вертел в руке какой-то клочок бумаги. Это был Бевиль. Он равнодушно смотрел, как с моста Менье сбрасывали в Сену трупы и живых людей.

— Какого чорта ты тут делаешь, Жорж? Какое чудо и какая благодать придали тебе столько рвения? Вид у тебя такой, словно ты охотишься на гугенотов.

— А ты сам что делаешь среди этих несчастных?

— Я, чорт меня возьми, я смотрю: ведь это же зрелище! И знаешь, какую я славную штуку вы-

кинул: ты помнишь старика Мишеля Корнабона, ростовщика-гугенота, который меня обчистил до нитки?

— И ты его убил, несчастный?

— Я, да что ты? Я не вмешиваюсь в дела религии. Я не только его не убил, но я спрятал его у себя в погребе, а он мне вернул расписки и написал о получении всего долга сполна. Таким образом я совершил доброе дело и получил за него награду. Разумеется, для того чтобы ему полегче было писать эту записку, я два раза прикладывал ему пистолет к голове и, чорт меня возьми, я ни за что бы не выстрелил… Постой, постой, смотри-ка, женщина зацепилась юбками за брусья на мосту, упадет… нет, не упадет! Что за чума! Любопытно, это стоит посмотреть поближе!

Жорж оставил его. Ударив себя по лбу рукой, он говорил про себя: «И это один из самых порядочных дворян, которых я знаю в столице!»

Он пошел по улице Сен-Жос, не освещенной и безлюдной. Было несомненно, что там не жил никто кроме реформатов. Однако, и там отчетливо раздавался шум из соседних улиц. Внезапно белые стены осветились красным огнем факелов. Он услышал пронзительные крики, он увидел неизвестную женщину, полуголую, с распу-

щенными волосами, с ребенком на руках. Она не бежала, она летела со сверхъестественной быстротой. Ее преследовали двое мужчин, воодушевляя один другого дикими криками, словно охотники на звериной ловле. Женщина хотела броситься в аллею, как вдруг один из преследователей стрельнул в нее из пищали, выстрел попал ей в спину, и она упала навзничь. Она тотчас же встала, сделала шаг по направлению к Жоржу и снова упала на колени, затем последним усилием она протянула своего ребенка капитану, словно вручая младенца его великодушию, и, не произнося ни слова, умерла.

— Еще сдохла одна еретичка, — воскликнул человек, стрелявший из пищали, — но я не успокоюсь, пока не убью дюжину их.

— Злосчастный! — воскликнул капитан и в упор стрельнул в него из пистолета. Голова злодея застучала, ударяясь о противоположную стену. Он страшно выкатил глаза и, скользя на пятках, как неудачно прислоненная доска, скатился, вытянулся на земле и умер.

— Как, убивать католиков?! — воскликнул товарищ убитого, держа факел в одной руке и окровавленную шпагу в другой. — Кто ж ты такой? Боже, господин офицер, да вы из легкой

конницы короля! Чорт возьми, ваша милость обозналась!

Капитан вынул из-за пояса второй пистолет. Истребитель бросил факел и стремительно побежал. Жорж не удостоил его выстрелом. Он наклонился, осмотрел женщину, простертую на земле, и убедился в ее смерти. Пуля прошла навылет. Ребенок, обняв ее за шею, кричал и плакал. Он был измазан кровью и каким-то чудом не был ранен. Капитан с некоторым усилием отнял его от матери, за которую он инстинктивно цеплялся, потом закутал его своим плащом и, наученный только что происшедшим случаем благоразумию, поднял шляпу убитого солдата, снял с нее белый крест и надел себе на шляпу. Благодаря этому он безостановочно имел возможность добраться до дома графини.

Братья упали друг другу в объятия и некоторое время были неподвижны и, тесно обнявшись, молчали, не будучи в состоянии говорить. Наконец, капитан короткими словами рассказал о состоянии столицы. Бернар проклинал короля, Гизов и попов. Он стремился уйти, присоединиться к своим братьям в том месте, где они сделали бы попытку дать отпор врагам. Графиня плакала и удерживала его, а ребенок кричал и просился к матери. Потратив немало времени на крики, вздохи и слезы, они почувствовали, что настало

время принять какое-нибудь твердое решение. Что касается ребенка, то графский конюх вызвался найти некую женщину, которая могла принять его на свое попечение. Мержи не имел возможности, при тогдашнем стечении обстоятельств, спастись бегством. К тому же — куда бежать? Кому известно, не разлилась ли волна истребления на всю страну, от края до края Франции? Сильные гвардейские отряды занимали посты, через которые реформаты могли бы проникнуть в Сен-Жерменское предместье, откуда они совсем легко выбрались бы из города и достигли южных провинций, все время склонявшихся на их сторону. Но, с другой стороны, казалось еще более бесполезным и далее совсем неосторожным мечтать о милосердии монарха в минуту, когда, возбужденный бойней, он мог думать только о новых жертвах. Дом графини, имевшей славу чрезвычайной набожности, не стоял под угрозой серьезных поисков со стороны убийц. А что касается своих людей, то Диана была в них уверена. Таким образом, Мержи нигде не мог найти себе убежища, более безопасного. Порешили укрыть его здесь, спрятав и пережидая события.

Наступление дня, вместо того чтобы прекратить убийства, казалось, повлекло за собою их

разрастание и страшную упорядоченность. Уже не было ни одного католика, который, боясь подозрении в ереси, не нацепил бы белого креста, не вооружился бы и не занимался бы выдачей гугенотов, еще оставшихся в живых. Тем временем к королю, запершемуся у себя во дворце, не допускали никого, кроме главарей убийц. Простонародье, в надежде на грабеж, присоединилось к городской гвардии солдат, а церковные проповедники призывали верующих к удвоенной жестокости.

— Раздавим зараз все головы еретической гидры и на веки вечные положим конец гражданским войнам! — И чтобы доказать этому народу, жадному до крови и чудес, что небеса одобряют это неистовство, охотно поощряют его явным знамением, они кричали:

— Бегите на кладбище Вифлеемских младенцев, взгляните на куст боярышника, зацветший во второй раз, словно поливание еретической кровью вернуло ему молодость и силу!

Бесчисленные процессии вооруженных убийц с огромной торжественностью шли на поклонение святому боярышнику и возвращались с кладбища, вооруженные новым рвением, чтобы выискивать и предавать смерти людей, столь

очевидно осужденных небесами. Из уст в уста ходило изречение Екатерины, его повторяли, убивая женщин и детей: «Che pietà lor se crudele, che crudelta lor ser pietoso»; что означало: «Нынче быть жестоким — значит поступать человечно, и, наоборот, быть человечным — значит совершать жестокости».

Странная вещь! В числе этих протестантов было мало людей, не воевавших, не знавших боев, в которых они зачастую с успехом испытывали и колебали численное превосходство врагов в силу своей доблести, а между тем во время этой бойни только двое из них оказали сопротивление убийцам, и из этих двоих лишь один был знаком с войной. Быть может, привычка сражаться в строю, в согласии с военными правилами, лишала их той необходимой личной энергии, которая могла побудить любого протестанта защищаться у себя дома, как в крепости. И так случилось, что старые воины становились похожи на людей, обреченных в жертву, подставляя горло негодяям, еще накануне трепетавшим перед ними. Покорность судьбе становилась их мужеством, и славу мучеников они выбирали, предпочитая ее воинской славе.

Когда первая жажда крови была утолена, наи-

более милосердные из убийц стали предлагать своим жертвам купить право на жизнь ценой отречения. Но лишь немногие кальвинисты согласились воспользоваться этим предложением — откупиться от смерти и пыток ложью, быть может, более извинительной. Женщины и дети повторяли свой протестантский символ веры под снопами мечей, занесенных над их головами, и умирали, не проронив жалобы.

Через два дня король сделал попытку остановить резню, но разошедшиеся страсти толпы было невозможно остановить. Не только кинжалы не перестали колоть и резать, но и сам король, обвиненный в нечестивом соболезновании, принужден был взять свои слова милосердия обратно и раздуть свое настроение до пределов злобы, бывшей по существу основным свойством его характера.

В первые дни после Варфоломеевской ночи брат регулярно посещал Мержи, проживавшего в тайном убежище, и сообщал ему каждый раз новые подробности ужасных сцен, свидетелем которых он бывал постоянно.

— Ах, будет ли время, когда я покину эту страну убийц и преступников! — воскликнул Жорж. — Я предпочел бы жить среди дикарей, чем между

французами.

— Поедем со мною в Ларошель, — говорил Мержи, — надеюсь, что крепость еще не захвачена убийцами. Умрем вместе, защищая этот последний оплот нашей веры, и ты заставишь всех забыть свое вероотступничество.

— Но что будет со мною? — спрашивала Диана.

— Поедемте лучше в Германию или Англию, — отвечал Жорж, — по крайней мере, там ни нас не будут резать, ни мы не будем обязаны убивать.

Этим планам не удалось осуществиться. Жоржа посадили в тюрьму за ослушание королевского приказа, а графиня, трепетавшая за любовника от страха, что его откроют, только и думала о том, как бы обеспечить ему возможность уехать из Парижа.

Глава двадцать третья
ДВА МОНАХА

Надели на него клобук, и вот он стал монахом.

Народная песня.

В кабачке на берегу Луары, недалеко от Орлеана, по дороге на Боженси, сидел за столом молодой монах, в коричневой рясе, с огромным капюшоном, полуопущенным на глаза. Он внимательно смотрел в часослов, хотя место для чтения, избранное им, было довольно темное. На поясе у него висели четки, зерна которых были крупнее голубиных яиц, а большой запас металлических образков, нанизанных на шнурок, при каждом движении позванивал. Когда он поднимал голову в сторону дверей, можно было рассмотреть прекрасно очерченный рот с усами, закрученными в форме *турецкого лука*, такими щегольскими, что они сделали бы честь любому ротмистру кавалерии. Его руки были чрезвычайно белы, ногти длинные, с признаками большого ухода, и ничто не указывало на то, что молодой брат когда-либо работал заступом или граблями,

согласно требованиям монастырского устава.

Толстощекая крестьянка, исполнявшая должность прислужницы и стряпухи в кабачке, где она была, кроме того, еще хозяйкой, подошла к молодому монаху и после довольно неуклюжих приветствии сказала ему:

— Что ж вы, отец, ничего не закажете обедать, знаете ли вы, что уже за полдень?

— А долго ли ждать еще лодку из Боженси?

— Кто знает? Вода спала, не поплывешь, как хочешь. Да потом — еще не настал час. На вашем месте, я здесь пообедала бы.

— Хорошо, я буду обедать, но нет ли у вас другой комнаты, чтобы поесть, тут что-то не очень хорошо пахнет.

— Вы очень разборчивы, отец, я решительно ничего не слышу.



— Что, свиней что ли опаливают около трактира?

— Свиней, вот потеха-то, свиней! Действительно, так. Конечно, они свиньи, потому что, как

кто-то сказал, недаром, что при жизни они в шелку ходили, а теперь и на копченую свинину не годятся. Это, с позволенья сказать, гугеноты, отец мой, которых сжигают на кострах в ста шагах отсюда. Вот откуда запах, который вы слышите.

— Гугенотов?!

— Ну да, гугенотов; разве они что-нибудь для вас значат? Стоит ли из-за этого терять аппетит? А что касается столовой, то у меня только одна и есть, придется вам ею обходиться. Все это вздор: гугеноты не так уж плохо пахнут; в конце концов, ежели их не сжечь, то от них пахло бы еще хуже. Сегодня утром на песке вот какая груда накопилась… Куда там, вышиною с этот камин!

— И что, ты ходила смотреть эти трупы?

— А, вы спрашиваете об этом, потому что они лежат голышом? Но ведь у покойников все это в счет не идет, отец мой! А по мне все равно, что на них смотреть, что на дохлых лягушек. Должно быть, вчера шибко поработали в Орлеане: страх сказать, сколько Луара принесла нам этой еретической рыбки. Вода низкая, они так и вываливаются на песок, где их находят каждый день. Еще вчера пошел работник с мельницы посмотреть, не попались ли в сети лини, и вдруг находит в сетях мертвую женщину с животом,

распоротым алебардами. Поверите ли, какой удар; вот сюда попало, а вышло между плечами. Ему бы лучше, конечно, поймать хорошего карпа. Однако, преподобный отец, что же это с вами? Вам, кажется, совсем плохо; хотите, я вам дам, не дожидаясь обеда, стаканчик боженси? Выпейте, и душа успокоится.

— Благодарю вас.

— Ну, что же вам приготовить на обед?

— Что придется, все равно.

— Ну, а все-таки скажите. У меня кладовая с хорошими запасами.

— Ну, ладно: дайте мне цыпленка и не мешайте мне читать часослов.

— Цыпленка, вот, ваше преподобие, цыпленка, ну, потеха! Вы и постом зубы на полку не кладете? Что ж у вас есть папская грамота, чтобы есть цыплят по пятницам?

— Ах, какой я рассеянный: верно, правильно, ведь сегодня пятница… *В пятницу мяса не вкушай*. Тогда дайте мне яиц, и спасибо, что вовремя сказали, а то я впал бы в большой грех.

— Вот вам, — сказала кабатчица вполголоса, — хорошие господа, не скажи им, так они в посту цыплят будут есть, а за крохотный кусочек сала в супе у бедной бабы такой поднимают крик, что

хоть святых выноси.

После этих слов она стала готовить яичницу, а монах возобновил чтение часослова.

— Ave Maria[63], сестрица! — произнес второй монах, входя в кабачок в ту минуту, когда почтенная Маргарита, держа за ручку сковородку, собиралась переворачивать огромную яичницу. Пришедший оказался красивым седобородым стариком, высоким, хорошо сложенным и плечистым. У него был прекрасный цвет лица, но первое, что бросалось в глаза при взгляде на него, — это был большой пластырь, наложенный на глаз и полщеки. По-французски он говорил свободно, но в выговоре чувствовался легкий иностранный акцент. Как только он вошел, молодой монах еще ниже надвинул капюшон, словно совсем закрываясь, но что больше всего удивило почтенную Маргариту, так это то, что вновь прибывший монах, у которого капюшон был совсем откинут вследствие жары, поспешно опустил его, как только увидел своего единоверца.

— В добрый час, отец мой, — сказала кабатчица. — Вы приходите вовремя, как раз к обеду

---

[63] Примечания: 63

Буквально: «Здравствуй, Мария» — начальные слова католического гимна.

Примечание переводчика.

— ждать не придется; компания подходящая есть. — Затем, обращаясь к молодому монаху, она сказала: — Не так ли, преподобный, вам ведь очень по душе будет обедать вон с тем преподобием? Это ведь он на запах моей яичницы торопился. Даром, что ли, я не пожалела масла.

Молодой монах ответил боязливо и с запинкой:

— Боюсь, как бы не стеснить пришедшего.

Старый монах, в свою очередь, поникнув головой, произнес:

— Я — бедный, эльзасский монах... Я боюсь, что говорю плохо по-французски и не составлю приятной компании единоверцу.

— Полно, — произнесла почтенная Маргарита, — вы еще разводите церемонии. Меж монахами, да еще монахами из одного ордена, никаких разделов, одним словом, одна постель.

И, схватив скамейку, она поставила ее к столу, как раз против молодого монаха. Старик сел сбоку, невидимому, сильно смущенный, и казалось, что желание есть боролось в нем с необходимостью делать это лицом к лицу с единоверцем, внушавшим ему отвращение. Яичница была подана.

— Ну, отцы мои, читайте скорее молитву, а

потом скажите, удалась ли яичница.

При слове «молитва» обоим монахам внезапно стало не по себе, и младший сказал старшему:

— Вам предстоит сказать «Benedicite»[64]: вы старше — вам и честь.

— Совсем нет: вы здесь раньше меня, вы и молитесь.

— Нет, прошу вас.

— Решительно не стану.

— Да, но это прямо необходимо.

— Полюбоваться только на них, — сказала почтенная Маргарита, — да вы мне яичницу остудите. Где это видано: такие церемонные францисканцы! Да вы сделайте так: пусть старший прочтет «Benedicite» перед обедом, а младший «Благодарение» после обеда.

— Я умею читать «Benedicite» только на своем языке, — сказал старый монах.

Молодой, казалось, удивился и бросил быстрый взгляд украдкой на своего товарища, меж тем последний, набожно складывая руки, начал бормотать под капюшоном какие-то слова, которых никто не понял.

Затем он сел на место и в одну минуту, без

---

[64] Примечания: 64

«Благослови» — начальные слова молитвы перед обедом.

Примечание переводчика.

лишних слов, съел три четверти яичницы и осушил бутылку, стоявшую перед ним. Его сотоварищ, уткнувши нос в тарелку, тоже ел молча. Покончив с яичницей, он встал, сложил руки и, заикаясь, скороговоркой пробормотал несколько латинских слов, из которых последними были: «Et beata viscera virginis Mariae»[65]. Это была единственная фраза, которую узнала Маргарита.

— Вот чудная послеобеденная, преподобный отец, совсем не похожа на ту молитву, что читает наш приходский поп.

— Такая установлена в нашей обители, — ответил молодой францисканец.

— Скоро ли будет лодка? — спросил старый монах.

— Да уж потерпите: когда-нибудь да придет, — ответила Маргарита.

Повидимому, молодому монаху эти слова пришлись не по душе, судя по тому, как он нетерпеливо качнул головой. Тем не менее, он не осмелился вставить ни одного замечания, взял часослов и с удвоенным вниманием принялся за чтение.

Эльзасец, в свою очередь повернувшись к еди-

---

[65] Примечания: 65

«Блаженно чрево девы Марии» (*лат.*).

Примечание переводчика.

новерцу спиной, перебирал четки всей пятерней, шевеля губами без единого звука.

«В жизни никогда не видывала таких чудных молчальников-монахов», — подумала почтенная Маргарита, садясь за прялку, пущенную в ход.

Четверть часа протекли в молчании, прерываемом только шумом прялки, как вдруг четверо мужчин, весьма подозрительного вида, вошли в трактир. При виде монахов они слегка прикоснулись к полям своих широких шляп, а один из них, обращаясь к Маргарите попросту со словами: «Милка Марготка», прежде всего потребовал вина и «обед поскорее», так как, по его словам, «глотка пересохла» и «челюсти онемели».

— Вино да вино, — заворчала Маргарита, — да все поскорее, а кто, сударь мой Буадофен, будет платить за вас? Забыли, что дядя Кредит приказал долго жить, а, кроме того, вы мне задолжали за вино, за обеды и ужины больше шести золотых. Это так же верно, как то, что я честная женщина.

— Да уж, конечно, и то, и другое верно, — смеясь, ответил Буадофен. — Ты, тетенька, запомни, что я должен тебе не больше двух золотых, ни гроша больше… — Он ввернул крепкое словечко.

— Ах, спаситель и богородица, можно ли так выражаться!!

— Ну, ну, не разевай пасти, старуха! Пусть будет шесть золотых, я заплачу, милка Марготка, за все и за то, что сегодня истратим. Нынче у меня позванивают гроши, хотя мы и ничего не заработали нашим ремеслом; не знаю, куда девает деньги эта сволочь!

— Они, быть может, их глотают, как немцы, — сказал одни из товарищей.

— Возьми их чума! — воскликнул Буадофен, — а в самом деле надо будет пощупать. Добрые золотые в животе еретиков — недурная начинка; собакам не выкинешь!

— Ну и орала сегодня утром пасторская дочка, — произнес третий.

— А толстый пастор, — вставил последний. — Я прямо живот надорвал! Он был такой жирный, что никак не шел под воду.

— Значит, сегодня лихо поработали, — сказала Маргарита, возвращаясь из погреба с полными бутылками.

— Как надо, — сказал Буадофен. — Мужчин, женщин и ребятишек, всего нашвырял дюжину в огонь и в воду, но понимаешь, Марготка, это все чортова голытьба, кроме бабы, у которой были кое-какие безделушки; вся эта дичина не дала и гроша. Да, отче, — сказал он, обращаясь

к молодому монаху, — нынче мы заработали отпущение грехов, побивая еретических собак — ваших недругов.

Монах поглядел на него с минуту и снова принялся за чтение, но видно было, как молитвенник дрожал у него в левой руке, а правой он сжимал кулак, как человек, находящийся в страшном волнении.

— Кстати, об отпущении, — сказал Буадофен, обращаясь к своим товарищам. — Знаете, я с удовольствием получил бы отпущение, чтобы сегодня поесть скоромного. У Марготки в курятнике цыплята, так они меня и тянут на грех.

— Какой к чорту грех, — произнес один из негодяев. — Не погибнет же наша душа из-за того, что мы их съедим. Завтра побываем у исповеди, только и всего.

— Послушайте, братишки, — сказал другой. — Вот, что мне пришло в голову: попросим у этих монашат разрешение на скоромный обед…

— Словно они могут его дать, — сказал товарищ. — Клянусь кишками богородицы, есть средство получше; давайте, скажу вам на ушко.

Четверо бездельников наклонили головы друг к другу, и Буадофен потихоньку рассказал им свои план, встреченный взрывами смеха.

У одного из разбойников появилось сомнение.

— У тебя злая мысль, Буадофен. Это может привести к несчастью. Я не участник твоей затеи.

— Помолчи, Гильмен, не велик грех заставить кого-нибудь понюхать кинжал.

— Да, но тонзура[66]... — Они говорили шопотом, и монахи старались угадать их намерения до отдельным словам, долетавшим из разговора.

— Ба! Да ведь никакой разницы нет, — возразил Буадофен несколько громче. — К тому же дело поставлено таким образом, что будет его грех, а не мой.

— Конечно, конечно, Буадофен прав, — воскликнули двое остальных.

Буадофен встал и вышел из комнаты. Через минуту послышалось куриное кудахтанье, и разбойник показался снова, держа по зарезанной курице в каждой руке.

— Ах, проклятый! — воскликнула почтенная Маргарита. — Резать моих кур, да еще в пятницу. Что ты хочешь с ними делать, разбойник?

— Помолчи, Марготка, пожалей мои уши, ты знаешь, что я сердитый малый. Приготовь-ка вертела и дай мне делать, что хочу.

---

[66] Примечания: 66

Выбритое место на темени у лиц католического духовенства.

Примечание переводчика.

Потом он подошел к монаху-эльзасцу и сказал:

— Вот, отец мой, вы видите двух этих зверей, ну, так вот, что я хочу, — чтобы вы оказали мне милость, дав им крещение.

Монах в изумлении попятился, другой закрыл часослов, тетка Маргарита начала ругать Буадофена.



— Дать им крещение? — спросил монах.

— Да, отче! Я буду восприемником, а Марготка — крестной матерью. И вот как я хочу назвать своих крестников: одного «Карпом», а другого — «Окунем». Ну, ей-богу, хорошие имена.

— Крестить кур! — воскликнул монах со смехом.

— Ну да, чорт возьми. Принимайся за дело, отче!

— Ах, подлец! — воскликнула Маргарита. — И ты думаешь, что я допущу такую проделку у себя в доме! Ты думаешь, что ты на нечестивом шабаше, чтобы крестить зверье?

— Уберите от меня эту крикунью, товарищи, — сказал Буадофен. — А вы, отче, как грамотный человек, прочтите, пожалуйста, на этом ноже фамилию оружейника, — и с этими словами он поднес кинжал к самому носу старого монаха. При этом молодой привскочил на скамье, но почти тотчас же сел, словно поддавшись благоразумному решению запастись терпением.

— Как же, сын мой, вы хотите, чтобы я совершил крещение живности?

— Чорт возьми, очень просто: как крестите вы нас, как крестите ребят, родившихся от бабы; брызните им водички на голову и скажите:

«Baptiso te Carpam et Percham»[67]. Произнесите только это на вашем тарабарском языке. Ну-ка, Пти-Жан, принеси нам стаканчик водички, а вы, вся компания, шапки долой, держаться чинно, господи благослови!

К общему удивлению, старый францисканец взял немного воды, покропил ею куриные головы и очень быстро, но неразборчиво пробормотал нечто вроде молитвы и кончил словами: «Baptiso te Carpam et Percham», потом он занял свое место и спокойно стал перебирать четки, как будто сделал самую обычную вещь. Удивление, как гром, поразило молчанием почтенную Маргариту. Буадофен торжествовал.

— Ну, Марго, — сказал он ей, бросая кур, — поджарь-ка нам сего Карпа и сего Окуня. Славная это будет постная пища!

Но, несмотря на состоявшийся обряд крещения, Маргарита еще не соглашалась смотреть на них, как на христианскую пищу. Разбойникам пришлось пригрозить ей, что они разделаются с ней по-свойски, и только тогда она решилась надеть на вертел цыплят, неожиданно ставших рыбами. Между тем Буадофен и его товарищи

---

[67] Примечания: 67

Крещаю тебя в Карпа и Окуня (*лат.*).

Примечание переводчика.

усердно пили, провозглашали здравицы и делали страшный шум.

— Послушайте, — закричал Буадофен, изо всех сил ударяя кулаком по столу, чтобы водворить тишину, — я предлагаю выпить за здоровье римского папы, святейшего отца нашего, за погибель всех гугенотов. Надо, чтобы и наши монашата и Марготка выпили с нами.

Предложение было принято одобрительными возгласами товарищей.

Он поднялся, слегка покачиваясь, ибо он был уже наполовину пьян; держа бутыль в руке, наполнил стакан молодого монаха.

— Ну, отче, — сказал он, — выпей за святость его здоровейшества… я вру; за здоровье его святейшества и за погибель…

— Я никогда не пью между обедом и ужином, — холодно возразил молодой человек.

— Нет, чорт возьми, вы выпьете или, чорт меня возьми, объясните, почему не хотите пить.

С этими словами он поставил бутылку на стол и, взявши стакан, поднес его к губам монаха, который тихонько уже склонил голову к своему часослову.

Несколько капель вина упали на книгу. Монах быстро встал, схватил стакан, но, вместо того

чтобы выпить, выплеснул содержимое в лицо Буадофену. Все рассмеялись, а монах, прислонившись к стене и скрестив руки, в упор смотрел на злодея.

— А знаешь ли, монашек, что этакая шутка мне совсем не по нутру. Клянусь богом, что, если б не ваш сан, я научил бы вас, где найти свое место.

Говоря так, он протянул руку к лицу молодого человека и кончиками пальцев дернул его за усы.

Лицо монаха побагровело. Одной рукой он схватил наглеца за ворот, а другой взял бутылку и с такой яростью разбил ее об голову Буадофена, что тот без памяти упал на пол, залитый кровью и вином.

— Чудесно, молодец! — воскликнул старый монах, — для попа вы слишком проворны в драке.

— Буадофен убит! — закричали трое разбойников, видя, что их товарищ лежит без движения. — Ах, мерзавец, сейчас мы дадим вам изрядную трепку.

Они схватились за шпаги, но молодой монах с удивительной ловкостью засучил рукава, схватил шпагу Буадофена и с решительным видом встал в оборонительную позицию. И в то же время его собрат вытащил из-под рясы длинный

кинжал, по крайней мере добрых восемнадцати дюймов, и встал рядом с ним с весьма воинственным видом.

— Ах, сволочи! — воскликнул он. — Мы научим вас доброму обращению, поставим вас на место.

В одно мгновение трое негодяев, раненных и обезоруженных, принуждены были искать спасения прыжками в окно.

— Иисусе, Мария! — воскликнула почтенная Маргарита. — Какие же вы вояки, отцы мои! Бы делаете честь вашей вере, но вот полумертвый человек — это очень неприятная слава для моего трактира.

— Ничуть не бывало: он не мертвый, — сказал старый монах. — Я вижу, как он шевелится. Но сейчас я ему прочту отпускную молитву перед смертью.

Он приблизился к раненому, схватил его за волосы и, обращая острие кинжала ему к горлу, собирался отрезать голову, но его удержала Маргарита и его собственный товарищ.

— Что вы делаете, боже мой, — говорила Маргарита. — Убить человека, да еще человека, который сходит за доброго католика, хотя, по совести, мало он на него похож.

— Я, кажется, не ошибаюсь, — сказал молодой

монах своему единоверцу, — что *спешные дела* вас призывают, равно как и меня, в Боженси? Лодка пришла, поспешим!

— Вы правы, я следую за вами.

Он вытер кинжал и снова спрятал его под рясу; затем оба доблестных монаха расплатились и вместе отправились по направлению к Луаре, оставив Буадофена на попечение Маргариты, которая начала с того, что обшарила его карманы и вернула свои долг, и лишь после этого извлекла кусочки стекла, торчавшие у него на лице, чтобы по всем правилам сделать ему перевязку, так, как она училась у кумушек и как полагается в таких случаях.

— Если я не ошибаюсь, я где-то вас видел, — обратился молодой монах к старому францисканцу.

— Чорт побери, ваше лицо мне знакомо, но…

— Когда мы встретились с вами в первый раз, вы, кажется, были одеты немного иначе.

— Кажется, и вы тоже?

— Вы капитан…

— Ваш покорный слуга — Дитрих Горнштейн, а вы — молодой дворянин, с которым я обедал около Этампа?

— Я самый.

— Ваша фамилия Мержи?

— Да, но теперь я называюсь иначе: я — брат Амвросий.

— А я — брат Антоний из Эльзаса.

— Прекрасно, а куда вы направляетесь?

— Если смогу, в Ларошель.

— И я тоже.

— Очень рад встретиться с вами… но, чорт возьми, вы меня поставили в ужасно затруднительное положение вашей молитвой перед обедом. Ведь я ни слова из нее не знаю, а вас я принял всерьез за монаха.

— Но ведь и я вас также.

— Откуда вы удрали?

— Из Парижа. А вы?

— Из Орлеана. Мне пришлось целую неделю скрываться. Мои злосчастные рейтары, мой корнет… все под водой Луары.

— А Мила?

— Она стала католичкой.

— А моя лошадь, капитан?

— А ваша лошадь? Мерзавец трубач, укравший ее у вас, был наказан плетьми, но, не зная, где вы, я не мог отослать ее вам обратно, я берег ее, ожидая чести снова встретиться с вами; по теперь, несомненно, она ходит под седлом какого-нибудь

мерзавца-паписта.

— Тише, тише, не говорите этого слова так громко. Ну, капитан, соединим нашу судьбу и будем помогать друг другу так, как мы только что это сделали.

— Согласен. И пока у Дитриха Горнштейна хоть капля крови остается в жилах, он будет готов сражаться бок о бок с вами.

Оба весело обменялись рукопожатиями.

— Но, послушайте, какая-то чертовщина пришла им в голову с этим «Карпом» и «Окунем»; надо сознаться, что эти паписты — скоты совсем особого рода.

— Да тише вы, еще раз вам говорю: вот лодка.

Продолжая этот разговор, они достигли лодки и заняли в ней места. До Боженси они доплыли без всяких приключений, если не считать, что им навстречу по Луаре течение несло множество мертвых тел их единоверцев.

Лодочник заметил, что большинство из них плывет лицом к небу.

— Они призывают к мести, — произнес шопотом Мержи, обращаясь к капитану рейтаров.

Дитрих ответил молчаливым рукопожатием.

Глава двадцать четвертая
ОСАДА ЛАРОШЕЛИ

Кто может все снести, не потеряв надежды?

Мур, «Лживая семья».

Ларошель, население которой почти сплошь составляли протестанты, была тогда неким подобием столицы провинции юга и наиболее крепким оплотом протестантской партии. Широкая торговля с Англией и Испанией вызвала значительный приток богатств и воспитала тот дух предприимчивой самостоятельности, которую она порождает и поддерживает. Горожане, рыбаки или матросы, зачастую корсары, привыкшие с очень раннего возраста к жизни, полной опасности и отваги, обладали той огромной энергией, которая заменяет дисциплину и военный опыт. Таким образом, известие о резне 24 августа совсем не вызвало у ларошельцев той тупой покорности, которая охватила огромное количество протестантов и породила в них неуверенность в успехе. Наоборот, они воодушевились действенной и грозной отвагой отчаяния. На общем совете

они решили, что лучше дойти до последней крайности, чем открыть ворота врагу, только что давшему такой беспримерный образец коварства и жестокости. Поддерживаемые в своем рвении фанатическими пасторскими речами, женщины, дети и старики наперебой работали над восстановлением старых укреплений и возводили новые. Собирали припасы и оружие, снаряжали барки и корабли, словом, не теряли ни минуты, подготовляя и организуя все доступные городу средства обороны. Многие дворяне, спасшиеся от резни, присоединились к ларошельцам, и их рассказы о злодеяниях Варфоломеевской ночи придали мужество даже самым робким. Для людей, спасшихся от верной смерти, случайности войны так же ничтожны, как легкий ветерок для матросов, выдержавших бурю. Мержи и его товарищ оказались в числе этих беженцев, пополнивших ряды ларошельцев.



Парижский двор был встревожен этими приготовлениями и жалел, что не сумел их предупредить. Маршал Бирон приближался к Ларошели в качестве лица, уполномоченного на мирные соглашения. Король имел некоторое основание надеяться на то, что выбор Бирона будет приятен

ларошельцам, ибо этот маршал не только не принимал участия в варфоломеевской бойне, но спас многих видных протестантов и дошел до того, что повернул пушки арсенала, бывшего под его командой, против убийц, шедших под королевским знаменем. Он просил только, чтобы его впустили в город на правах королевского губернатора, обещая соблюдать правила и вольности города и чтить свободу вероисповедания. Но после избиении шестидесяти тысяч протестантов, кто мог бы поверить обещаниям Карла IX? К тому же, пока велись переговоры в Бордо, солдаты Бирона грабили окрестности Ларошели, а королевский флот задерживал торговые суда и блокировал гавань.

Ларошельцы отказались принять Бирона и ответили, что они не могут заключать договор с королем, покуда он в плену у Гизов: то ли они считали последних единственными виновниками всех несчастий, претерпеваемых кальвинистами, то ли, стараясь этой выдумкой, часто повторявшейся с их легкой руки, успокоить тех, кто еще верил в святость королевской присяги и ставил ее выше интересов веры. С того момента не было никакого средства притти к соглашению. Король выслал другого посредника и послал Ла-Ну. Ла-

Ну, прозванный «Железная рука», потому что он заменил потерянную руку искусственной, был ревностным кальвинистом, обнаружившим во время последней гражданской войны огромную храбрость и военный талант.

У адмирала, с которым он был дружен, не было помощника преданнее и искуснее. Варфоломеевская ночь застала его в Нидерландах, где он вел на испанские войска недисциплинированные отряды фламандских повстанцев. Но счастье изменчиво, он вынужден был сдаться герцогу Альбе, который обращался с ним довольно мягко. Позже, когда потоки крови возбудили какое-то сожаление в Карле IX, он снова призвал его и, вопреки всяким ожиданиям, принял его с величайшей любезностью. Этот государь, ни в чем не знавший меры, осыпал милостями одного протестанта и готовился перерезать их сто тысяч. Какой-то рок, казалось, охранял судьбу Ла-Ну. Еще в третью гражданскую войну он попал в плен, сначала при Жарнаке, потом при Монконтуре, и всякий раз его без выкупа отпускал *королевский брат*[68], несмотря на доводы некоторых военачальников, которые настаивали на том, чтобы он принес в

[68] Примечания: 68
Принц Генрих, в то время принц Анжуйский, впоследствии Генрих III.

жертву этого человека, слишком опасного, для того чтобы его можно было выпустить из рук, и слишком честного, чтобы его можно было бы чем-нибудь соблазнить. Карл подумал, что Ла-Ну теперь вспомнит о проявленном милосердии, и потому поручил именно ему склонить ларошельцев к покорности. Ла-Ну согласился, но поставил условием, что король не будет требовать от него ничего такого, что было бы несовместимо с его честью. Он отправился в сопровождении итальянского священника, который должен был наблюдать за ним. Сначала он испытал чувство боли, заметив, что ему не доверяют. Он не был допущен в Ларошель, а местом переговоров была назначена маленькая деревушка в окрестностях. Это было в Тадоне, где он встретился с выборными Ларошели. Он со всеми ими был знаком, как со старыми товарищами по оружию, но, увидев Ла-Ну, ни один из них не протянул ему руки, ни один не подал виду, что узнал его. Он назвал свое имя и изложил королевское предложение. Сущность его речи сводилась к следующему:

— Доверьтесь обещаниям короля, нет большего зла, нежели гражданская война.

Городской голова Ларошели ответил с горькой улыбкой:

— Конечно, мы видим перед собой человека, похожего на Ла-Ну, но Ла-Ну никогда не предложил бы своим братьям покориться убийцам. Ла-Ну любил покойного адмирала и скорее захотел бы отомстить за него, чем договориться с убийцами. Нет, вы совсем не Ла-Ну.

Несчастный посланник, которого эти упреки пронизывали до глубины души, напомнил о своих заслугах перед кальвинизмом, указал на свою покалеченную руку и протестовал против обвинения в недостаточной преданности вере. Мало-помалу недоверие ларошельцев рассеялось. Они открыли ворота перед Ла-Ну, они показали ему свои боевые запасы и даже уговорили его стать во главе крепости. Предложение было очень соблазнительным для старого воина. Его присяга Карлу была дана под ограничительными условиями, предоставлявшими возможность толковать их сообразно голосу совести. Ла-Ну надеялся, что, став во главе ларошельцев, он скорее приведет их в миролюбивое настроение, он думал, что ему удастся одновременно соблюсти верность присяге и преданность религии. Он ошибался.

Королевские войска осадили Ларошель. Ла-Ну руководил всеми вылазками, убивал огромное

число католиков, после чего, вернувшись в город, обращался к жителям со словами убеждения и предлагал заключить мир. Чего же он достиг? Католики кричали, что он изменил королевской присяге, протестанты обвиняли его в том, что он предал их дело.

В таком положении Ла-Ну, преисполненным отвращения к жизни, намеренно искал смерти, подвергаясь опасности по двадцати раз в день.

Глава двадцать пятая
ЛА-НУ

***Фенест**. Лопни мои глаза, этот человек не пяткой сморкается.*

Д'Обинье.

Осажденные только что совершили удачную вылазку против передовых осадных сооружении католической армии. Они завалили траншеи, опрокинули туры и перебили добрую сотню солдат. Отряд, имевший такую удачу, возвращался в город через Тадонские ворота. Впереди ехал капитан Дитрих с отрядом пищальников, которые, должно быть, не щадили сил в бою, судя по тому, как они задыхались, какие воспаленные были у всех лица и какая их сжигала жажда. За ними шла огромная толпа горожан, среди которых было немало женщин, очевидно, тоже принимавших участие в битве, потом следовало десятка четыре пленников, покрытых ранами, шедших между двумя шеренгами солдат, с большим трудом охранявших их от ярости народа, собиравшегося по пути. Человек двадцать кавалеристов составляли арьергард. Ла-Ну, у которого Мержи служил

адъютантом, ехал последним. Его панцырь был прострелен пулей, его лошадь получила две раны, в левой руке он нес разряженный пистолет и посредством крючка, заменявшего ему правую руку от кисти и выходившего из правой поручни, он управлял конским поводом.

— Дайте пройти пленникам, друзья мои, — восклицал он ежеминутно. — Будьте человечны, добрые ларошельцы! Они ранены, они беззащитны, они больше не враги вам.

Но толпа отвечала дикими выкриками: «На виселицу папистов!», «В петлю их!», «Да здравствует Ла-Ну!».

Мержи и конница помогали великодушному генералу, увещевавшему толпу, направо и налево ударяли древком копья. Наконец, пленные были отведены в городскую тюрьму и помещены под крепкой охраной, и им уже не угрожала народная ярость. Отряд рассеялся. Ла-Ну, в сопровождении только нескольких дворян, спешился перед зданием городской думы в ту минуту, когда из нее вышел городской голова с группой граждан и с пожилым пастором Лапласом.

— Ну, доблестный Ла-Ну! — сказал городской голова, протягивая руку. — Вы только что доказали этим убийцам, что не все храбрецы умерли

с адмиралом.

— Дело приняло счастливый оборот, — ответил Ла-Ну со скромностью. — У нас всего лишь пятеро убитых и почти нет раненых.

— Ну, раз вы руководили вылазкой, — продолжал голова, — заранее можно было верить в успех.

— А что значил бы Ла-Ну без помощи божьей, — раздраженно воскликнул старый пастор. — Бог сильный и правый сражался за нас, он услышал наши молитвы.

— Бог посылает победы и лишает нас их по воле своей, — спокойно сказал Ла-Ну, — только ему нужно воздать благодарение за военный успех.

Потом он обернулся к городскому голове и спросил:

— Ну, как, сударь, обсудил ли совет новое предложение его величества?

— Да, — ответил городской голова, — мы только что отослали трубача к господину[69], прося его больше не беспокоиться и не посылать нам писем. С этой минуты нашими ответами будут только выстрелы из пищалей.

— Правильнее было бы приказать повесить

---

[69] Примечания: 69
Брат короля Карла IX.

Примечание переводчика.

трубача Герольда, — заметил пастор, — ибо не говорится ли в писании: «Разве не вышли злодеи из твоей среды и разве не захотели они соблазнить жителей своего же города?.. Но ты не дал им избегнуть смерти, рука твоя первою легла на них, а за нею и рука народа твоего».

Ла-Ну вздохнул и устремил глаза к небу, ничего не говоря.

— Как это нам сдаваться, — продолжал городской голова, — сдаваться, когда стены еще крепки, когда враг еще не смеет приблизиться, и мы ежедневно одурачиваем его в собственных его же рядах? Поверьте мне, господин Ла-Ну, что если бы в Ларошели даже совсем не было солдат, то одних женщин было бы достаточно для отражения парижских живодеров.

— Сударь, сильнейшему надлежит с осторожностью отзываться даже о своем враге, и только слабые…

— Э! Кто говорит, что мы слабые? — прервал Лаплас. — Разве бог не сражается на нашей стороне, разве Гедеон с тремя стами израильтян не

оказался сильнее всей армии мадианитян?[70]

— Вам известно лучше, чем кому-нибудь, господни голова, как незначительны наши продовольственные запасы, как мало пороху, и я принужден запретить пищальщикам выпускать большие заряды, требуемые стрельбой на далекое расстояние.

— Мангомери пришлет нам английский порох, — ответил голова.

— Огонь с неба падает на головы папистов.

— Хлеб с каждым днем дорожает, господин голова.

— Со дня на день может появиться английский флот, и в городе возобновится изобилие.

— Бог пошлет армию небесную в случае нужды! — воскликнул Лаплас.

— Что касается помощи, о которой вы говорите, — продолжал Ла-Ну, — то достаточно нескольких дней беспрерывного южного ветра, чтобы ни один корабль не смог войти в нашу гавань, уж не говоря о том, что флот могут перехватить по дороге.

---

[70] Примечания: 70

Гедеон, израильтянский судья и полководец (1349–1309 годы до нашей эры). В библии рассказывается, как Гедеон с тремя стами израильтян уничтожил огромную армию мадианитян благодаря неожиданной ночной атаке.

Примечание переводчика.

— Ветер будет с севера, я так пророчествую, маловерный, — произнес пастор, — ты потерял правую руку и мужество вместе с нею.

Ла-Ну, повидимому, решил не отвечать на эти замечания. Он продолжал, обращаясь все время к городскому голове:

— Для нас потерять одного человека важнее, чем врагу потерять десятерых. Если католики поведут осаду с большим упорством, то опасаюсь, как бы не пришлось нам принять условия более суровые, нежели те, от которых мы теперь отказываемся с презрением. Если, как я надеюсь, король удовольствуется признанием его верховной власти, не требуя никаких жертв от города, то я полагаю, что открыть ворота королю станет нашим долгом, ибо, в конце концов, король — наш хозяин.

— Единственный наш хозяин — Христос, и только нечестивец может называть хозяином свирепого Ахава[71] — Карла, пьющего кровь народа!

Ярость пастора удваивалась при виде невозмутимого хладнокровия Ла-Ну.

— Что касается меня, — сказал голова, — то

---

[71] Примечания: 71

Ахав — царь израильтян, прославленный жестокостью в боях.

Примечание переводчика.

я отлично помню, как при последнем своем проезде адмирал сказал нам: «Король поклялся, что с его подданными-католиками и с его подданными-протестантами будет обращаться одинаково». Прошло полгода, и король, давший клятву, приказывает убить адмирала. Если мы откроем ворота, у нас будет Варфоломеевская ночь, как в Париже.

— Король обманут Гизами, он очень раскаивается в этом и хотел бы искупить пролитую кровь. Если вашим упрямым нежеланием заключить договор вы раздражите католиков, то на вас будут брошены все силы королевства, и тогда последний оплот реформатский церкви будет разрушен. Мир, мир, поверьте мне, господин голова!

— Трус! — воскликнул пастор. — Ты жаждешь мира, потому что боишься за свою жизнь.

— О, господин Лаплас, — произнес голова.

— Короче сказать, — холодно продолжал Ла-Ну, — мое последнее слово таково: если король согласится не ставить гарнизона в Ларошели и оставит нам свободу наших проповедей, то надо будет вручить ему наши ключи вместе со свидетельством нашей покорности.

— Ты, предатель, — воскликнул Лаплас, — подкуплен тиранами!

— Великий боже, что вы только говорите, Лаплас! — повторял голова.

Ла-Ну слегка улыбался с презрительным видом.

— Видите, господин голова, в какое странное время мы живем? Военные люди говорят о мире, а духовенство проповедует войну. Дорогой мой, — обратился он к Лапласу, — идите обедать, вам пора, супруга заждалась вас дома.

Последняя фраза привела пастора в ярость. Не найдя слов, достаточно оскорбительных, он ударил по щеке старого полководца, так как пощечина делает ненужным разумный ответ.

— Господи боже мои, что вы делаете! — закричал голова. — Ударить господина Ла-Ну, лучшего гражданина и храбрейшего воина в Ларошели!

Присутствующий при этом Мержи был склонен проучить Лапласа, чтобы он надолго запомнил этот урок, но Ла-Ну его задержал.

Когда на одну секунду к седой бороде прикоснулась рука старого безумца, с быстротой мимолетной мысли в глазах Ла-Ну сверкнули негодование и гнев, но тотчас же лицо его приняло прежнее бесстрастное выражение. Можно было подумать, что пастор нанес удар мраморному бюсту римского сенатора или что

Ла-Ну испытывал прикосновение предмета неодушевленного и приведенного в движение какой-нибудь случайностью.

— Отведите старика к его жене, — сказал он одному из горожан, который пытался оттащить старого пастора. — Скажите ей, чтобы она заботливо ухаживала за ним, ему положительно поздоровится сегодня. Господин голова, произведите набор полутораста добровольцев из горожан, так как завтра я перед рассветом должен произвести вылазку именно в тот момент, когда солдаты после бессонной ночи в окопах еще коченеют от холода, как медведи, на которых охотятся в оттепель. Я заметил, что люди, спавшие под кровлей, по утру стоят больше тех, что провели ночь под открытым небом.

— Мержи, если вы не слишком торопитесь обедать, не хотите ли пройтись со мною к Евангелическому бастиону? Я хотел бы взглянуть, как идут работы врагов. — Он поклонился городскому голове и, опираясь на плечо молодого человека, направился к бастиону.

Они пришли туда через минуту после того, как пушечным выстрелом были ранены насмерть двое людей. Камни бастиона окрасились кровью, и один из несчастных кричал товарищам, чтобы

они его прикончили.

Ла-Ну, облокотившись на парапет, некоторое время молча наблюдал работу осаждающих, потом обернулся к Мержи и сказал:

— Ужасная вещь — война, но гражданская война!.. Это ядро пущено французским орудием, француз наводил прицел, француз зажег пальник, французским ядром убиты двое французов — и это еще ничего по сравнению с тем, когда, господин Мержи, приходится убивать не на расстоянии полумили, а вот тут, рядом, втыкать шпагу в тело человека, который умоляет вас о пощаде на вашем же родном языке. А между тем, сегодня утром мы будем это делать.

— Ах, сударь, если бы вы видели резню 24 августа, если бы вы переплывали Сену, когда она была красна и несла больше трупов, чем льдин во время половодья, вы не испытали бы жалости к тем людям, с которыми мы бьемся. Для меня каждый папист — убийца.

— Не клевещите на всю страну. В осаждающей нас армии очень мало таких чудовищ. Что такое солдаты, как не французские крестьяне, оставившие плуг для королевского жалованья? Офицеры и дворяне сражаются потому, что они поклялись верности королю, и, быть может, правы они, а мы

лишь — мятежники.

— Мятежники? Но наше дело правое. Мы сражаемся за нашу веру, за нашу жизнь.

— Насколько я вижу, у вас почти нет сомнений — вы счастливый человек, господин Мержи.

Старый воин глубоко вздохнул.

— Что за чорт, — сказал солдат, только что выстреливший из пищали, — заговорен, что ли, этот чорт? Уже три дня, как я в него целюсь и никак не могу попасть.

— Кто это? — спросил Мержи.

— Да вот этот верзила в белом камзоле, с красной перевязью и пером. Все время он шляется у нас перед носом, словно хочет нас дразнить. Это один из придворных, золотошпажников, из тех, что пришли с господином.

— Расстояние довольно большое, — сказал Мержи. — Ну, все равно, дайте-ка мне пищаль.

Какой-то солдат дал ему в руки оружие. Мержи утвердил ствол на парапете и стал тщательно делиться.

— А если это кто-нибудь из ваших друзей? — спросил Ла-Ну. — Почему вы хотите выстрелить именно в него?

Мержи собирался спустить курок, но на секунду задержал палец.

— У меня никаких друзей среди католиков нет… Быть может, один. Но уверен, что он не участвует в осаде.

— А если это ваш брат, который сопутствует господину?

Раздался выстрел. Но рука Мержи дрожала. Было видно, как на большом расстоянии от пешехода поднялась пыль от пули. Мержи не думал, что его брат может находиться в католической армии, но, несмотря на это, был рад своему промаху. Человек, в которого он целился, продолжал медленно двигаться между окопами, а затем исчез за одной из земляных насыпей, которые все время возникали вокруг осажденного города.

Глава двадцать шестая
ВЫЛАЗКА

***Гамлет**. Мертвец, бьюсь об заклад на золотой, что мертвец!*

Шекспир, «Трагедия о Гамлете, принце Датском».

Мелкий холодный дождь, без перерыва падавший всю ночь, наконец, прекратился в тот момент, когда на востоке тускло забрезжила утренняя заря. Она с трудом пролагала себе дорогу сквозь тяжелый, ползущий по земле туман, гонимый ветром в разные стороны, расходившийся клочьями, между которыми появлялись широкие просветы. Это сероватые клочья расступались и соединялись, как волны, разрезанные кораблем, падающие и заполняющие проведенную им борозду. Поля, одетые этой густой пеленой тумана, прорванного местами вершинами деревьев, были словно залиты сплошным паводком.

В самом городе этот утренний свет, смешиваясь с огнями факелов, освещал довольно многочисленную группу солдат-добровольцев, собравшихся на улице, шедшей к Евангелическому

бастиону. Они притаптывали и приплясывали, стуча обувью по мостовой, и совершали движения, не сходя с мест, как люди, продрогшие от сырого и пронзительного холода, сопровождающего восход солнца зимой. Не было нехватки в брани и крепких словечках по адресу начальников, поднявших их к оружию в такую рань, но сквозь ругань в их словах сквозило хорошее расположение духа и надежда, окрыляющая солдат, когда ими командует почитаемый начальник. Они произносили полушутя, полусердито:

— Этой проклятой «*Железной руке*», этому «*Жаку-бессоннице*» кусок в горло не идет, если он утром ни свет, ни заря не постреляет в католических убийц. Лихорадка его побери! Это чорт, а не человек, с ним никогда не выспишься. Клянусь бородой покойного адмирала, если не скоро начнут стрелять, я засну, как в своей постели.

— Ага!.. Ура!.. Несут водку! Сейчас душенька успокоится, слава богу, теперь не застудимся в этом проклятом тумане.

Покуда солдатам разливали водку, офицеры, стоя под навесом, окружили Ла-Ну и с интересом выслушивали план атаки на осаждающее войско. Послышалась барабанная дробь. Все стали на места. Пастор приблизился, благословил солдат,

напутствуя их увещанием храбро исполнять долг, обещая в случае неудачи вечную жизнь, а в случае удачи — награду и благодарность сограждан при возвращении в крепость. Проповедь была коротка, но Ла-Ну она показалась очень длинной. Он не был похож на того Ла-Ну, который жалел о каждой капле пролитой французской крови. Теперь это был только солдат, спешивший, по-видимому, как можно скорее видеть перед собой картину боя. Не успела пасторская речь замолкнуть, а солдаты ответить «аминь», как он обратился твердым и жестким голосом к солдатам:

— Друзья! Пастор только что кончил свои правильные слова, предадимся в руки господа и девы Марии-воительницы. Первого, кто даст хороший выстрел, не прострелив паписта, я убью собственноручно, если поймаю.

— Вот чума! — сказал тихонько Мержи. — Эти речи совсем не похожи на ваши вчерашние.

— Знаешь ли ты латынь? — спросил его Ла-Ну грубо.

— Да, сударь.

— Ну так вспомни хорошие слова: «Age quod

agis»[72].

Он скомандовал. Раздался пушечный выстрел, и отряд большими шагами вышел за город. Одновременно меньшие отряды, выходя из различных ворот, производили ложную тревогу во многих пунктах неприятельской линии, с тем, чтобы католики, предполагая общее нападение, не вздумали послать подкрепления против главной атаки, чтобы они боялись оголить любой пункт, находящийся под одинаковой угрозой.

Евангелический бастион, против которого были направлены усилия саперов католической армии, должен был особенно страдать от батареи из пяти пушек, поставленных на невысоком холме, имевшем на вершине разрушенный дом, до осады бывший мельничным строением. Подступы со стороны города были защищены рвом и земляным валом, а впереди рва были выставлены частые заставы часовых, состоявшие из пищальников. Но, как и предполагал протестантский полководец, их пищали, в течение многих часов бывшие в сырости, превратились в почти бесполезное оружие, а нападающие, хорошо снаряженные и подготовленные к атаке, име-

[72] Примечания: 72
Что делаешь — делай скорей.

Примечание переводчика.

ли несомненное преимущество перед людьми, застигнутыми врасплох, утомленными бессонницей, промокшими под дождем, закоченевшими от холода.

Передовые заставы часовых были вырезаны. Несколько выстрелов, сделанных каким-то чудом, разбудили батарейную команду лишь для того, чтобы она увидела, как неприятель уже овладел валом и взбирается на мельничный холм. И вот артиллеристы пытаются оказать сопротивление, но оружие падает из рук, скрюченных холодом, почти все пищали дают осечку, между тем как у нападающих ни один выстрел не пропадает даром. Победа уже несомненна, и протестанты, овладев батареей, издают жестокий крик: «*Без пощады! Помните 24 августа!*»

В мельничной башне было около полусотни солдат под командой капитана. Капитан в ночном колпаке, в кальсонах, держа в одной руке подушку, в другой шпагу, отворяет дверь и выходит, спрашивая, откуда такая сумятица. Далекий от мысли о неприятельской вылазке, он предполагал, что шум происходит из-за ссоры его солдат между собой. Разочарование было жестокое: под ударом алебарды он свалился на пол, купаясь в крови. Солдаты успели забаррикадировать

двери в башню и некоторое время успешно отстреливались через окна. Но совсем около дома было сложено много сена, соломы и хвороста, приготовленного для устройства плетеных габионов[73]. Протестанты подожгли все это, и через минуту огонь охватил сооружение, доходя до верхушки. Вскоре изнутри стали доноситься жалобные крики. Крыша была объята пламенем и грозила обрушиться на головы несчастных, которых она прикрывала. Дверь горела, и баррикады, сделанные там, загородили выход, а когда осажденные пытались выпрыгнуть из окна, они падали в огонь или на концы копей. Ужасное зрелище открылось взорам. Какой-то рядовой офицер, в полном обмундировании, пытался, как и другие, выпрыгнуть через узкое окно. Его панцырь по нижнему краю оканчивался, следуя довольно распространенной тогдашней моде,

[73] Примечания: 73

Военное сооружение из прутьев и земли, что-то вроде искусственного холма.

Примечание переводчика.

каким-то подобием железной юбки[74], покрывавшей бедра и живот и расширявшейся в виде воронки для того, чтобы дать возможность корпусу двигаться при хождении.

Окно оказалось недостаточно широким, чтобы пропустить именно эту часть панцыря, а прапорщик сгоряча так ринулся в окно, что бóльшая часть корпуса перегнулась вниз снаружи, он попал в тиски и не был в состоянии двинуться. Тем временем языки огня поднимались на его высоту и раскаляли латы, поджаривая его, словно в стальной печи, уподобившейся знаменитому медному быку, изобретенному Фаларисом[75]. Несчастный человек испускал ужасающие крики и тщетно размахивал руками, словно призывая на помощь. Среди нападающих на одну минуту

---

[74] Примечания: 74

Подобное вооружение можно было видеть в Артиллерийском музее. Великолепный эскиз Рубенса, изображающий турнир, дает нам понять, как, несмотря на эту железную юбку, можно было все-таки сесть на лошадь. Седла были снабжены маленькими скамейками, которые входили под этот железный бордюр. Всадник сидел так высоко, что его колени приходились почти на уровне конской головы. См. сообщение о человеке, заживо сгоревшем в латах во «Всемирной истории» д'Обинье.

[75] Примечания: 75

Агригентский тиран Фаларис (566–549 годы до нашей эры) изобрел способ казни посредством сжигания заживо в корпусе медного быка, под которым разводили костер. Восставший жители Агригента однажды схватили самого царя и подвергли его той же казни.

Примечание переводчика.

воцарилось молчание, потом они все сразу, словно сговорившись, грянули военную песню, чтобы заглушить вопли сгоравшего человека. Он исчез в вихре огня и дыма, и видно было, как среди обломков башни падала дымящаяся, докрасна раскаленная каска.

В пылу боя впечатления ужаса и печали длятся коротко. Инстинкт самосохранения слишком упорно дает себя знать солдату, чтобы он мог надолго становиться чувствительным к несчастью других. Пока одна часть ларошельцев преследовала беглецов, другая — принялась заклепывать орудия, разбивать колеса и скидывать в ров артиллерийские габионы и трупы батарейной команды.

Мержи, первым пролезший через ров и взобравшийся на завал, перевел дух и вырезал на одной из пушек острием кинжала имя Дианы. Потом он присоединился ко всем истреблявшим защитные работы осажденных. Какой-то солдат, взявши за голову католического офицера, не подававшего признаков жизни, вместе с другим солдатом, схватившим его за ноги, раскачивали тело, чтобы швырнуть его в ров. Внезапно мнимый покойник открыл глаза и, узнав Мержи, закричал:

— Господин Мержи, пощадите! Я сдаюсь, спасите меня. Неужели вы не узнаете вашего друга Бевиля?

Лицо несчастного было в крови, и Мержи трудно было узнать в этом умирающем молодом человеке того придворного, с которым он расстался, когда последний был полон жизни и веселости. Он приказал осторожно положить его на траву, сам сделал ему перевязку и, собственными руками устроив его на седле, дал приказ осторожно отправить его в город.

В то время как он прощался с Бевилем и помогал увезти лошадь под уздцы с батарейной площадки, он заметил на равнине группу всадников, которые рысью спешили на равнину, лежавшую между городом и мельницей. Повидимому, это был отряд католической армии, намеревавшийся отрезать им отступление. Мержи поспешно предупредил Ла-Ну.

— Если вы сделаете милость доверить мне человек сорок пищальников, я сейчас же переброшу их за изгородь, что идет вдоль дороги, по которой они поедут, и прикажу их повесить, если они скоренько не повернут поводья.

— Отлично, молодчик, из тебя будет отличный капитан. Следуйте за господином дворянином и

исполняйте его приказания.

Через минуту Мержи разместил пищальников за изгородь: он дал команду встать на колени, взять пищали на изготовку и ни в каком случае не стрелять без команды.

Вражеские всадники примчались быстро. Уже отчетливо раздавался стук копыт по грязной дороге.

— Их капитан, — сказал Мержи тихим голосом, — это тот самый забавник с красным пером на шляпе, по которому мы вчера дали промах. Ну, уж сегодня мы его подстрелим.

Стрелок с правой стороны кивнул головой, как бы желая показать, что он на себя берет это дело. Всадники были не более как в двадцати шагах, и капитан их, повернувшись липом к отряду, отдавал какое-то распоряжение. Мержи, поднявшись, скомандовал:

— *Огонь!*

Капитан с красным пером повернулся в его сторону, и Мержи узнал своего брата. Он протянул руку к пищали своего соседа, чтобы отвести прицел, но раньше, чем он успел это сделать, раздался выстрел. Всадники, удивленные этим неожиданным залпом, врассыпную бросились по полю, и капитан Жорж упал с лошади, простре-

ленный двумя пулями.

Глава двадцать седьмая
ЛАЗАРЕТ

__Монах__. К чему ты так упорен?

__Петр__. А почему бедняге
не позволяешь умереть спокойно?
Как ворон, налетаешь ты
И каркаешь над ним.

Отвей, «Спасенная Венеции».

Старинный мужской монастырь, и свое время реквизированный под городской совет Ларошели, был превратен во время осады в лазарет для раненых. Пол часовни, из которой были убраны скамейки, алтарь и все украшения, был устлан соломой и сеном; туда помещали простых солдат. Большая монастырская трапезная, обитая старым дубом, с широкими стрельчатыми окнами, пропускавшими свет, достаточный для хирургических операций, была приспособлена для хирургической работы, которая производилась здесь непрерывно. Сюда положили капитана Жоржа на матрац, покрасневший от его крови и

крови других несчастных предшественников его в этом печальном месте. Охапка соломы служила ему подушкой. С него только что сияли панцырь и разорвали на нем камзол и сорочку. Он лежал, обнаженный до пояса, но на правой руке еще оставались поручни и стальная рукавица. Солдат унимал кровь, которая текла у нею из двух ран: он был ранен тяжело в живот, как раз в том месте, где кончается панцырь, и еще легко — в верхнюю часть левой руки. Мержи был до такой степени подавлен горем, что не мог оказать хоть сколько-нибудь существенную помощь. То плача на коленях перед ним, то с криками отчаяния катаясь по полу, он не переставал обвинять себя в убийстве нежно любимого, лучшего друга. Тем временем капитан был спокоен и даже силился умерить выражение братского отчаяния. В двух шагах лежал другой матрац, на котором покоился бедняга Бевиль в очень жалком виде. Черты лица его не выражали той спокойной покорности, которая была на лице у капитана; временами он испускал глухие стоны и поворачивал глаза к соседу, словно прося у него немного мужества и твердости.

Человек лет сорока, сухощавый, лысый, весь в морщинах, вошел в залу с зеленый мешком в

руках, издававшим металлический звон, столь страшный для пациентов. Это был доктор Бризар, довольно искусный для своего времени хирург, ученик и друг знаменитого Амвросия Паре. Он только что кончил какую-то операцию, если судить по тому, что рукава у него были засучены до локтей, а спереди был надет фартук, покрытый кровавыми пятнами.

— Что вы от меня хотите и кто вы такой? — спросил Жорж.

— Я хирург, дорогой дворянин, и если имя доктора Бризара вам не знакомо, то, значит, вообще вы мало знаете. Ну, наберись храбрости, овечка, как говорят покойники. Я знаток пищальных ранений, благодаря богу, и хотел бы иметь столько золота в мешках, сколько можно набить их пулями, извлеченными мною из человеческих тел у людей, ныне здравствующих благополучно.

— Верю, доктор, но скажите мне правду; насколько я ощущаю, рана должна быть смертельной.

Хирург сначала осмотрел левую руку и сказал:

— Пустячки!

Потом стал исследовать зондом другую рану — операция, которая вызвала жесточайшие судороги на лице раненого. Правой рукой он силился

отшвырнуть руку хирурга.

— Чорт возьми, не залезайте дальше, дьявольский доктор! — воскликнул он. — По вашему лицу я читаю, что моя песенка спета.

— Видите ль, сударь мои, я боюсь, что пуля задела брюшину и, поднявшись, застряла в спинном хребте, который по-гречески называется *рахис*. Думаю я так потому, что у вас отнялись и похолодели ноги. Это показатель болезни, которая обманывает редко. В таких случаях…

— Ружейный выстрел в упор, прожигающий камзол, и пуля в спинной хребет. Чорт побери! Больше, чем надо, доктор, чтобы отправить человека ad patres[76].

— Нет, он выживет, он выживет! — закричал Мержи, остановив блуждающие глаза на докторе и судорожно хватая его за руки.

— Да, еще часок или два, — холодно ответил доктор Бризар, — он человек крепкий.

Мержи снова упал на колени, схватил брата за руку, и поток слез оросил стальную перчатку, которая была на ней надета.

— Два часа? — переспросил Жорж. — Тем лучше, я боялся, что дольше придется мучиться.

---

[76] Примечания: 76
К праотцам (*лат.*).

Примечание переводчика.

— Нет, этого не может быть, — воскликнул, рыдая, Мержи. — Жорж! Ты не умрешь! Брат, ты не можешь умереть от руки брата!

— Довольно, держи себя спокойно и, пожалуйста, не тряси меня. Каждое твое движение во мне отзывается болью. Сейчас я уже не страдаю. Только бы так шло все и дальше... Это, кажется, говорил Зани[77], падая с высокой колокольни.

Мержи сел около матраца, положив голову на колени и закрыв лицо руками. Он был неподвижен и находился как бы в полудремоте. Лишь временами по его телу пробегала судорожная дрожь, словно приступ лихорадки, и нечеловеческие стоны вырывались у него из груди. Хирург сделал перевязку только для того, чтобы не текла кровь, и с величайшим хладнокровием вытирал зонд.

— Я советую вам поспешить с приготовлениями; если желаете пастора, — их сколько угодно; если вы предпочитаете католического священника, — вам его разыщут. Я только что видел какого-то монаха, взятого в плен нашими. Да вот он. Видите, он исповедует папистского офицера, который через минуту умрет.

---

[77] Примечания: 77

Зани (zanni, zani, zany) — дзанни, маска паяца-слуги из итальянской комедии дель арте. (*Примечание книгодела*).

— Принесите мне пить, — ответил капитан.

— От питья воздержитесь, от него умрете часом раньше.

— Час жизни не стоит стакана вина! Ну, уходите, доктор. Тут недалеко от меня кто-то ждет вас с нетерпением.

— Кого же вам прислать — пастора или монаха?

— Ни того, ни другого.

— Как так?

— Да так. Оставьте меня в покое.

Хирург пожал плечами и пошел к Бевилю.

— Пропади моя борода! — закричал он. — Вот так рана! Эти дьяволы добровольцы протыкают, как шальные.

— Я поправлюсь, неправда ли? — спросил слабым голосом раненый.

— Дышите, — сказал доктор Бризар. Послышался свист, производимый воздухом, шедшим из груди Бевиля; одновременно и через рот, и через рану побежала кровь с красной пеной. Хирург свистнул, как бы подражая звуку воздуха, выходившего из груди. Потом наскоро положил повязку, забрал инструменты и поспешно собрался уходить. Бевиль, с глазами, горящими, как в лихорадке, следил за всеми его движениями.

— Как же, доктор? — спросил он дрожащим голосом.

— Собирайте пожитки в дорогу, из которой не вернетесь, — холодно произнес хирург и отошел.

— Ох, умереть таким молодым! — воскликнул несчастный Бевиль, роняя голову на охапку соломы, служившей ему подушкой.

Капитан Жорж хотел пить, но никто не хотел дать ему стакана воды из страха ускорить его конец.

— Странное это человеколюбие, которое служит лишь к тому, чтобы длились мучения.

В эту минуту в зал вошли Ла-Ну и капитан Дитрих, в сопровождении многих других офицеров, чтобы навестить раненых. Все они остановились перед матрацем Жоржа, и Ла-Ну, опираясь на эфес шпаги, переводил глаза с одного брата на другого; волнение, испытываемое им при виде этого печального зрелища, отражалось на нем. Глаза Жоржа устремились на флягу, висевшую сбоку, на бедре немецкого капитана.

— Капитан, — произнес он глухо, — вы — старый солдат.

— Да, старый. От порохового дыма борода седеет скорее, чем от годов. Меня зовут капитан Дитрих Горнштейн.

— Скажите, что бы вы сделали, если бы вы были ранены так, как я?

Капитан Дитрих с минуту посмотрел на его раны, как человек, привыкший видеть и понимать это зрелище, и сказал:

— Я привел бы в порядок свою совесть и попросил бы стакан доброго рейнвейна, если б поблизости нашлась бутылка.

— Ну, вот я прошу у них только их дрянного ларошельского вина, и эти слюнтяи не желают мне его дать.

Дитрих отстегнул флягу внушительной величины и собрался отдать ее раненому.

— Что вы делаете, капитан! — воскликнул какой-то стрелок. — Доктор сказал, что он умрет от первого глотка.

— Ну, так что ж, но крайней мере перед смертью он получит маленькое удовольствие. Получай, храбрец! Жаль, что не могу дать вина получше.

— Вы любезный человек, капитал Дитрих, — сказал Жорж, выпив вина. Затем, протягивая флягу своему соседу, добавил: — А ты, бедняга Бевиль, хочешь последовать моему примеру?

Но Бевиль покачал головой и не ответил.

— Ах, — закричал Жорж, — новая пытка, неужели не дадут умереть спокойно!

Он увидел, как к нему приближается пастор, таща подмышкой библию.

— Сын мой, — начал пастор, — раз вы сейчас…

— Довольно, довольно! Знаю все, что вы можете сказать. Но это потерянный труд. Я — католик.

— Католик? — закричал Бевиль. — Значит, ты не атеист?

— Но было время, — продолжал пастор, — когда вы были воспитаны в законах реформатской религии, и в этот торжественный, страшный час, когда вы готовитесь предстать перед верховным судьей поступков и совестей…

— Говорят вам я — католик. Убирайтесь к чорту на рога! Оставьте меня в покое!

— Но…

— Капитан Дитрих, сжальтесь надо мной, вы уже оказали мне одну услугу, прошу вас, окажите другую. Сделайте так, чтоб я умер спокойно без увещаний и библейских угроз.

— Уходите, — сказал капитан пастору. — Вы видите, что он не совсем расположен вас слушать.

Ла-Ну сделал знак монаху, который тотчас же подошел.

— Вот священник вашего вероисповедания, — сказал он капитану Жоржу. — Мы не намереваемся стеснять свободу вероисповеданий.

— Монах или пастор — мне все равно. Пусть оба убираются ко всем чертям, — ответил раненый.

Монах и пастор стояли по обе стороны постели, и казалось, готовились начать спор из-за умирающего.

— Разве вы не видите, что его благородие — католик? — сказал монах.

— Но он родился протестантом, — возразил пастор. — Значит, он мой!

— Но он обратился в католичество.

— Но умереть он желает в вере своих отцов.

— Исповедуйтесь, сын мои!

— Прочтите символ веры, сын мой!

— Неправда ли, вы умрете, как добрый католик…

— Уберите этого посланца антихриста, — воскликнул пастор, чувствуя поддержку большинства присутствующих.

Какой-то солдат, ревностный гугенот, схватил монаха за веревочный пояс и стал его выталкивать с криком: «Вон отсюда, бритая макушка! Проклятый висельник! Уж давно в нашей Ларошели не поют обеден».

— Стой, — произнес Ла-Ну, — если дворянин хочет исповедаться, я даю слово, что никто в этом ему не помешает.

— Большое спасибо, господин Ла-Ну, — сказал умирающий слабым голосом.

— Будьте свидетелями, — вступился монах, — он хочет исповедаться.

— Нет, чорт меня побери!

— Слышите, он возвращается к вере предков, — воскликнул пастор.

— Нет, тысячу чертей, убирайтесь оба! Разве я стал уже трупом, что во́роны подрались из-за меня? Я не хочу ни псалмов, ни обеден.

— Он богохульствует! — воскликнули в один голос служители враждующих культов.

— Однако, надо же верить во что-нибудь? — сказал капитан Дитрих с невозмутимым равнодушием.

— Нет, задуши меня чума, я не верю ни в бога, ни в чорта. Убирайтесь оба и дайте мне умереть, как собаке.

— Ну, так и умирай, как собака, — сказал пастор с негодованием, удаляясь.

Монах осенил себя крестным знамением и подошел к постели Бевиля.

Ла-Ну и Мержи остановили пастора.

— Сделайте последнюю попытку, — сказал Мержи, — пожалейте его, пожалейте меня!

— Милостивый государь, — обратился Ла-Ну к

умирающему, — поверьте старому солдату: увещания человека, посвятившего себя богу, могут облегчить последние минуты умирающего. Не следуйте внушению опасной суеты и не губите вашей души из-за красного словца.

— Милостивый государь, — отвечал капитан. — Я не сегодня начал думать о смерти. Мне не нужны чьи-либо увещания. Я не краснобай и сейчас, готовясь к смерти, меньше, чем когда-либо, склонен говорить красные словца. Но, чорт меня побери, мне совершенно нечего делать с поповскими баснями.

Пастор пожал плечами, Ла-Ну вздохнул, оба медленно отошли, понурив головы.

— Товарищ, — сказал Дитрих, — должно быть, тебе чортовски тяжело, что ты говоришь такие слова?

— Да, капитан, чортовски тяжело.

— Ну, в таком случае надеюсь, что господь бог не посетует на ваши речи, которые, как две капли воды, похожи на богохульство. Но когда все тело прострелено, чорт возьми, прострелено из пищали, то позволительно утешения ради слегка почертыхаться.

Жорж улыбнулся и снова стал пить из фляжки.

— За ваше здоровье, капитан! Вы — самая хоро-

шая сиделка для раненых.

Говоря это, он протянул ему руку. Капитан Дитрих пожал ее с некоторым волнением.

— Чорт! — произнес он по-немецки. — Значит, если бы мой брат Геннинг стал католиком, я бы также мог в одно прекрасное время прострелить ему живот полным зарядом пищали. Вот тебе и объяснение предсказания Милы!

— Жорж, дорогой товарищ, — застонал Бевиль жалобно, — скажи мне что-нибудь; мы сейчас умрем — это ужасная минута… Думаешь ли ты теперь так же, как прежде, когда обращал меня в безбожие?

— Конечно, как прежде. Храбрись, через несколько минут страдать перестанешь.

— Но этот монах толкует об адском огне, о чертях, вообще я не знаю о чем, — все это так огорчает меня.

— Это глупый вздор!

— А вдруг это правда?

— Капитал, завещаю вам панцырь и шпагу. Хотел бы предложить вам что-нибудь получше за это славное вино, которым вы меня так великодушно угостили.

— Жорж, друг мой, — снова начал Бевиль, — это будет ужасно, если правда все, что он говорит…

о вечности!

— Трус!

— Да, трус, легко сказать… Струсишь, когда дело идет о вечных мучениях.

— Ну, так исповедуйся.

— Ответь, пожалуйста, уверен ли ты, что ада нет?

— Еще бы!

— Нет, ответь, вполне ли ты уверен в этом, побожись, что ада нет!

— Я ни в чем не уверен. А если дьявол существует, то мы увидим, насколько он черен.

— Как, ты не уверен в этом?

— Говорю тебе — исповедуйся.

— Но ты станешь смеяться надо мной.

Капитан не мог удержаться от улыбки, потом серьезно произнес:

— На твоем месте я, конечно, исповедался бы. Это верное дело! Человек, которого поисповедуют и намажут маслом, приготовлен ко многим неприятностям.

— Ну, хорошо, я сделаю по-твоему. Начинай!

— Нет.

— Ну… Говори, что хочешь, а я умру добрым католиком. Пожалуйте, отец, помогите мне про-

читать «Confiteor»[78] и подсказывайте, ежели я позабыл.

Пока шла исповедь, капитан Жорж сделал еще глоток вина, потом, положив голову на свое жалкое изголовье, закрыл глаза. Он лежал спокойно около четверти часа. Потом сжал губы, вздрогнул и застонал от боли. Мержи, думая, что он умирает, громко вскрикнул и приподнял его голову. Капитан сейчас же открыл глаза.

— Опять! — произнес он, слегка отталкивая брата. — Прошу тебя, успокойся, Бернар.

— Жорж, Жорж, это я тебя убил!

— Что делать, не я первый из французов, убитый братьями, не думаю, чтоб я был последним. Виноват я один. Когда господин освободил меня из тюрьмы и взял с собою вместе, я поклялся не обнажать оружия… Но когда я узнал, что это несчастный Бевиль подвергся нападению, когда до меня донеслись залпы, я решил участвовать в боевом деле.

Он опять закрыл глаза и, тотчас же открывая их, сказал:

— Тюржис поручила передать тебе, что она

---

[78] Примечания: 78

«Исповедуюсь» или «Верую» — начальные слова католической молитвы.

Примечание переводчика.

продолжает тебя любить.

Он улыбнулся мягкой улыбкой.

Это были его последние слова. Через четверть часа он умер, повидимому, без больших страданий, а еще по прошествии нескольких минут перестал дышать Бевиль на руках монаха, который потом уверял, что в воздухе он ясно расслышал ликующие крики ангелов, принявших душу этого раскаявшегося грешника, в то время как под землею вторил торжествующий вой чертей, уносивших душу капитана Жоржа.

Во всех историях Франции можно прочесть о том, как Ла-Ну покинул Ларошель, до отвращения пресытившись гражданской войной и мучимый совестью, не позволявшей ему сражаться против короля; о том, как католическая армия принуждена была снять осаду и как заключен был четвертый мир, за которым вскоре последовала смерть Карла IX.

Утешился ли Мержи? Завела ли Диана нового любовника? Я предоставляю решить эти вопросы самому читателю, который таким способом имеет возможность закончить роман по своему вкусу.